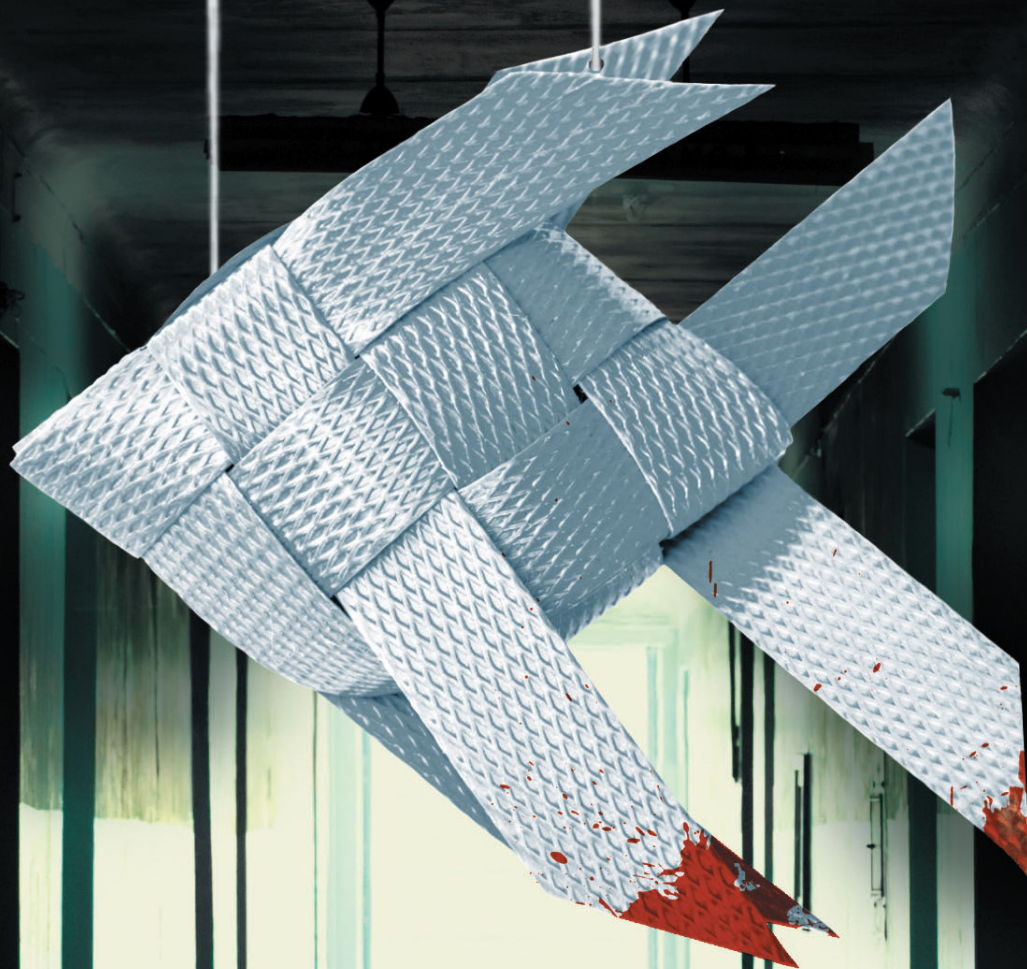


Автор —
лауреат премии

*Рукопись
года*

18+



Екатерина РУ

КОЛЫБЕЛЬНАЯ БЕЛЫХ ПИРАНИЙ

Виноваты звезды

Екатерина Ру

Колыбельная белых пираний

«Издательство АСТ»

2021

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Ру Е. А.

Колыбельная белых пираний / Е. А. Ру — «Издательство АСТ»,
2021 — (Виноваты звезды)

ISBN 978-5-17-139490-5

Вера работает врачом-урологом в городской больнице. Она способна «слышать» близкую неминуемую смерть, когда перед ней появляются обреченные пациенты – в том числе и те, которые не подозревают о своей скорой кончине. Но есть ли смысл в этом даре, если «услышанную» смерть все равно не остановить? И почему такой дар достался именно Вере? Роман о поиске своего места в реальности. О боли и хрупкости человеческого тела, о страшном и неведомом, что, подобно хищным рыбам, внезапно всплывает из мутной глубины жизни. И об отчаянной попытке это страшное побороть – вопреки логике и законам природы.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-139490-5

© Ру Е. А., 2021
© Издательство АСТ, 2021

Содержание

Там, в глубине	6
1	8
2	13
3	22
4	29
5	35
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Екатерина Ру

Колыбельная белых пираний

© Екатерина Ру, текст, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

* * *

*И Бог наделил вас плавниками и позволил вам свободно
передвигаться.*

Св. Антоний Падуанский. Проповедь рыбам

Трогает жизнь, везде достает.
Гончаров И. А. Обломов

Там, в глубине

– Мама, у Артура снова режутся зубы. Треугольные пираниевые зубы.

Мама с силой сжимает руку Луиса, тянет за собой сквозь пыльную горячую улицу.

– Перестань, Луис, хватит. Никакого Артура нет.

– Он есть. Он там, в глубине меня.

– Тебе это кажется.

– Мне не кажется, он правда есть. Вокруг него темно, и он ничего не видит. Но он может выбраться наружу. Он постоянно пытается выбраться.

Мама замедляет шаг. Тяжело вздыхает, щурясь от воспаленного предвечернего солнца.

– Боже мой, когда это прекратится! Слушай, сейчас, у доны Элизы, сиди тихо. И не смей говорить про Артура, не позорь меня, ты понял?!

Луис кивает и дальше идет молча. Он слышит в своей внутренней темноте тихие всплески воды и втягивает голову в плечи.

У доны Элизы старый дом, наполненный густым сонным воздухом. Из глубины коридора играет радио; тяжело и знойно жужжат мухи. На пороге кухни неподвижно лежат две собаки, будто придавленные жарой.

Сама дона Элиза высокая, сухая и как будто немного погнутая влево. Чем-то похожая на горелую спичку. А глаза кофейные, теплые.

– Детка, хочешь поиграть с ребятами, пока мы с твоей мамой разговариваем? – ласково говорит она и показывает в сторону двора. – Там мои внуки и их друзья.

Луис смотрит в открытое окно и видит резвящихся детей. Идти к ним совсем не хочется. Луис уже почти год не играет с другими детьми. Почти год назад соседские ребята столкнули его с причала. Прежде чем уйти под воду, Луис налетел зубами на ржавый бок опрокинутой лодки. Затем долго барахтался в буровой вязкой толще, и зубы один за другим выплывали изо рта, вытягивая за собой длинные кроваво-красные ленты. Ребята все это время стояли на причале и смеялись. Тогда внутри Луиса и появился Артур. Артур – это почти такой же мальчик, как Луис. Только зубы у него как у пирании. Артур сидит очень глубоко, но иногда хочет выплыть на поверхность и впиться зубами поочередно во всех, кто его окружает. Вырвать по кусочкам мясо, раскусить жилы и кости. Но Луис его удерживает – в слепой глубине себя, в темноте своей головы. Артур ничего не видит, только бессмысленно дергается и сжимает челюстями пустоту.

– Давай, Луис, иди, не мешай! – сердито говорит мама. – Нам с доной Элизой нужно обсудить дела.

Луис снова вжимает голову в плечи и послушно идет во двор.

Наверху все сильнее взбухает предвечернее солнце. Льется с неба раскаленно-липкими лучами.

Ребята, замерев, оборачиваются, с любопытством смотрят на пришедшего незнакомца. Назад дороги нет, приходится представиться:

– Я Луис... Я пришел с мамой к доне Элизе.

Луису не по себе. Ему хочется провалиться сквозь пыльную растрескавшуюся землю. Сердце отчаянно стучит в груди тяжелой мягкой кувалдой. Но ребята оказываются дружелюбными – не то что соседские. Не обзывают, не усмеваются в ответ, не смотрят презрительно. И сразу берут его в игру.

– Иди к нам, Луис! – говорит веснушчатый толстый мальчик. – Я внук доны Элизы, Жоакин. А вот Ана, моя сестра, вот Карлос, Жулия, Матеус, Лаура.

И Луис идет, вливается в игру, в густой жизнерадостный гул. В этом гуле он словно плывет на маленькой лодке, беззаботно кружится по непроницаемой водной глади. Шум обволакивает его мягким ласковым коконом, в котором он чувствует себя защищенным от затаившейся неизвестности. От невнятной напряженной реальности, неизменно поджидающей его в тишине. Смятение как будто немного отступает.

Впрочем, ненадолго.

– *Море волнуется раз*, – считает кто-то из ребят. – *Море волнуется два*.

Но Луису представляется не море, а мутная кофейно-бурая река.

– Луис, у тебя глаза красные, – вдруг говорит маленькая Ана, внучка доны Элизы. – Может, песок попал?

Луис трет глаза, но песка не чувствует. А мысленная лодка внезапно как будто начинает раскачиваться, грозясь выкинуть Луиса в воду. Внутри головы снова появляются шевеления Артура. Страх всплескивается вязкой волной, обволакивает нутро холодными скользкими водорослями. Луис старается улыбаться, смотреть на веселые лица вокруг. Столкнуть Артура обратно в слепую глубину.

После «моря» играют в жмурки. Луису завязывают глаза, и от него все со смехом разбегаются. Ему довольно быстро удастся кого-то отловить: теперь главное – опознать пойманного на ощупь. Это несложно. Хрупкая ключица, мелкие воздушные кудряшки, персиковая мягкость щеки. И горячее карамельное дыхание с затаенным смехом. Это маленькая Ана.

– Угадал! Давай еще раз.

Луис вновь кого-то ловит. Еще быстрее, чем в первый раз. Он медленно проводит рукой по лицу пойманного и в ошеломлении замирает. Прямо под сердцем ныряет тяжелый горячий ужас. Выныривает в легкие, снова устремляется куда-то в подсердечную зону и откатывается дальше, в глубину тела. Луис узнает на ощупь собственные черты. Собственный покатый лоб, косой выпуклый шрам на левой брови, заостренный кончик носа. Он ощущает даже знакомый кисло-соленый запах кровяной корочки на плече.

Но нет. Рот не его. Выступающая нижняя челюсть, частокол клиновидных острых зубов. Улыбка не его. Это даже не улыбка, нет, а ледяной пираниевый оскал.

– Луис, нам пора! – слышится мамин голос, и пойманный мальчик тут же ускользает из-под его ладони.

– Пока, Луис! – говорят вокруг. – Приходи еще!

Луис судорожно срывает повязку, но по-прежнему ничего не видит: глаза тонут в абсолютной темноте.

– Луис?

Проходит пара секунд, и в эту темноту остро врезаются крики. Смешиваются с оглушительно сочным хрустом и влажным чавканьем где-то совсем рядом. Невыносимо близко. Луис ничего не может сделать. Он бессмысленно вертится, вытягивает руки, все больше проваливаясь в чужую слепую глубину.

1

Диагноз

Больничная тишина неподвижная и тугая. Только справа, в двух метрах от Веры, изредка капает сломанный кран. Словно выдавливает из себя скупые больничные слезы. Слитые воедино остатки общей, совокупной боли. Основная боль уже как будто вся вытекла, осталось совсем чуть-чуть, последние капли. Больничные слезы гулко ударяются о дно раковины и исчезают в никуда.

Вера лежит на боку, вглядываясь в ночь за окном, в знакомые очертания спящей стеклобетонной плоти, обступившей больничный двор. Слева неврологический корпус, справа – административно-хозяйственный. А чуть дальше морг, но его не видно. Вера чувствует себя изможденным, расхлябанным куском материи, нелепой конструкцией в совершенно не рабочем состоянии. Возможно, даже набором отдельных, уже не скрепленных друг с другом деталей. Небрежно разобранным человеческим механизмом. *Надо бы хоть немного подремать*, устало думает она и закрывает глаза. Но подремать не получается. Темное больничное пространство тут же подползает под пульсирующие Верины веки. Тревожный полусекундный образ затопленных Амазонкой тропиков где-то на подступах ко сну, и, дернувшись всем телом, Вера снова выныривает на поверхность сознания. И снова больничные стены, снова густо-черное ночное небо за окном и неподвижные вечные корпуса. Дежурство, затишье, капающий кран.

Пора завязывать с буфетным кофе. Да и вообще с такой жизнью. Со всем этим. С больницей. Должна же она когда-нибудь меня отпустить. Вот только уходить от нее некуда – разве что напрямик в ту самую мутную воду.

Борьба с неумолимым ежеминутным пробуждением длится мучительно долго. И каждый раз, всплывая из вод Амазонки, Вера вздрагивает на своей жесткой кушетке, словно пойманная рыба на дне лодки. Жадно хватая ртом больничный воздух. Зачем-то подносит руки к горлу – резко, почти что с рефлекторной быстротой. Словно ожидая нащупать окровавленные жабры. И обнаруживает каждый раз вспотевшую тонкую шею с прилипшими прядями волос.

Лишь к рассвету Вера наконец погружается в сон – тяжелый и затхлый, как несвежее полотенце. Ей в тысячный раз снится, что она в Манаусе, как будто ради какой-то урологической конференции.

Вере во сне нестерпимо жарко. От плотного банного воздуха, пропитанного мясным духом, внутри как будто что-то расклеивается, распадается на части.

Из ресторанной террасы тянется запах жареной пиканьи, смешивается с запахом сгнившего где-то на жаре мусора. В нескольких метрах, у входа во внутреннее помещение ресторана, стоят Игорь Николаевич, главврач Веринной больницы, Константин Валерьевич, заводделением, и еще какие-то врачи, которых Вера однажды видела в Москве, на конгрессе Российского общества урологов (единственном, который она посетила). Все они слегка слоятся в раскаленном мареве. То и дело открывают дверь, оценивая разглядывая ресторанное нутро. Так продолжается до тех пор, пока к ним не выходит очень полная женщина, вся усыпанная крупными, похожими на раздавленные хлебные комочки веснушками, и не хлопает дверью у них перед носом. Все-таки внутри работает кондиционер, и прохлада не должна зря утекать из помещения.

– Тут сауна, а там дубак, – говорит Константин Валерьевич. – И что делать?

Внезапно Вера вглядывается сквозь ресторанное окно. Туда, где сидят посетители. И где среди посетителей сидит *он*. Вера чувствует, как ее обдаёт новой, очень густой волной жара.

Мясного клейковатого пекла. И тут же понимает, что этот липкий алый жар исходит вовсе не от террасы, а изнутри, из собственной тревожно стучащей сердцевины.

С *того самого случая* прошло семнадцать лет, и теперь *ему*, наверное, тридцать с лишним. Как и Вере. Но лицо так и осталось каким-то детским. *Он* чем-то похож на пухлявого мультяшного ангелочка – из тех, что обычно изображают на открытках. Все те же пшеничные волосы. Те же молочно-голубые, чуть воспаленные глаза. Вера отчетливо видит их даже на расстоянии нескольких метров. Вот *он* кому-то улыбается – видимо, сидящей напротив женщине с малиновыми прядями. И улыбка та же – лучистая, простодушная.

«Не может быть, – с изумлением думает Вера. – Он все-таки выжил. Причем ни одного шрама. Но так бывает. Видимо, лицо тогда не пострадало. Ведь такое возможно? Возможно всякое».

В чудесных возможностях медицины Вера уже давно сомневается. Но вот в простые, не медицинские чудеса по-прежнему верит. Хочет верить.

– Вера, пойдемте дальше, нам тут не рады! – возникает голос Константина Валерьевича.

– Сейчас, – отвечает Вера, машинально поднося ладонь к груди. К горячему, сально разбухающему сердцу.

– Не переживайте вы так, – говорит Игорь Николаевич словно с другого берега темной реки.

В следующем моменте сна Вера и правда видит себя на темной реке. Точнее, среди затопленного тропического леса, в окружении непроницаемых древесно-лиственных стен. Все то время, что оказалось между этими моментами, словно потонуло в раскаленном липком тумане.

Главврач и заведующий сидят тут же, в лодке. Нанизывают кусочки сырого куриного филе на рыболовные крючки, перешучиваются с гидом, смуглым поджарым парнем, который очень похож на Эдика – медбрата, умершего пару лет назад от цирроза печени.

Вера все еще как будто истекает внутренним сальным жаром и не принимает участия ни в беседе, ни в рыбалке. Ей хочется неотрывно смотреть на сумрачную, затаившуюся в себе воду. «Значит, вот почему я *его* больше ни разу не видела, – говорит она себе. – Вовсе не потому, что *он* погиб. Просто *он* тогда уехал. Далеко уехал. Вот и все объяснение».

Но что-то никак не складывается до конца в голове. Слово какая-то часть Веры тихонько подсказывает, что это все не наяву, не по-настоящему.

Игорь Николаевич и Константин Валерьевич выдергивают из водной мути пираний почти одновременно, под энергичные аплодисменты гида. Две маленькие зубастые рыбешки шлепаются на дно лодки и принимаются отчаянно трепыхаться. Категорически отказываются верить, что пришел конец. Вера вздрагивает и устремляет на пираний тревожный сосредоточенный взгляд. Слово все видимое пространство уплотняется, концентрируется вокруг этих несчастных рыбешек.

– Но ведь... они белого цвета? Почему они белые? Они разве должны быть такими?

Все трое резко поворачиваются к Вере. Она повторяет свой вопрос и выжидательно, почти умоляюще смотрит на гида. Тот что-то растерянно и неуклюже шутит про рыбий расизм.

– Вера, это вы белого цвета... – обеспокоенно шурится главврач.

– Ага, – соглашается Константин Валерьевич. – Вы очень бледная. Я бы даже сказал белая, словно снежком припорошенная. Вы вообще нормально себя чувствуете?

Вере кажется, будто язык и горло постепенно покрываются сухой шершавой коркой. Надо что-то ответить. Успокоить их. Не портить рыбалку. Надо забыть на время про *него*.

С большим трудом она сглатывает вязкий комочек слюны. И медленно выдыхает.

– Да, со мной все нормально. Просто, может, отпустим их? Пока не поздно.

Телефонный звонок резко выдергивает Веру из сна, затягивает обратно в больницу реальность. Корпуса за окном еще спят, но фонарный неживой свет уже разбавлен

живым, предутренним. Небесная темнота начинает таять, сквозь нее уже прорастает нечто рас-светно-сукровичное. Назревает еще один больной день.

– Слушаю.

– Вера Валентиновна, тут индивидуума принесло самотеком, двадцать восемь лет, – раздается в телефоне голос Любы из регистратуры. Трескучий и бодрый, как у тамады. Даже в такой час.

Вере по-прежнему невыносимо жарко, правда, теперь уже не от густого тропического зноя, а от колючего пледа, который она зачем-то натянула во сне до самого подбородка.

– Хорошо, сейчас буду.

– Там у него, говорит, увеличение левой половины мошонки, болезненность, все такое, температура тридцать восемь и семь. Причем, говорит, уже два дня назад заболел, но вот только сейчас, видите ли, решил...

– Разберемся, пусть поднимается.

Вера нажимает отбой. Она всегда старается свести разговор с Любой к минимуму. А сейчас это просто необходимо, иначе боль в черепе от дурного сна станет совсем невыносимой.

Новый больной день, мысленно повторяет Вера, откидывая плед и сбрасывая босые ноги на холодный линолеумный пол.

Коридорный свет больно бьет по глазам. Ярко-желтый, густой, бесперебойно льющийся с потолка днем и ночью и оттого словно перекипевший. Воздух почти как в Манаусе – душный и липкий, только еще насквозь пропитанный лекарствами и чужой безысходностью.

Нужно спуститься на третий этаж. Проплывая сквозь ярко освещенные коридоры, Вера каждый раз неизбежно думает о тех, кто сейчас по ту сторону дверей. Машинально, по привычке. По секунде о каждом. Мысль затекает под дверь и тут же уносится дальше.

Вот здесь Геннадий Яковлевич, семьдесят девять лет. Ему сегодня удалили опухоль лоханки правой почки. До семидесяти пяти он проработал учителем алгебры и геометрии в средней школе. Вера представляет, как он говорил на уроках. Мягко и бархатисто, никогда не пытаясь перекричать несмолкаемый гул класса. После каждого урока аккуратно складывал в стопочку тетради с мемами на обложках, а на большой перемене заваривал чай в синей кружке с отколотым краем и надписью «Любимому мужу». Или «Дорогому Геночке». А потом его вежливо попросили уйти на заслуженную пенсию, и он ушел. Скрепя сердце, но ушел. По суббботам он ходил с женой Кирой на концерты в ДК на Ленинской улице. Только ради Киры: Геннадий Яковлевич не любил *всякую самодеятельность*. По воскресеньям отправлялись за покупками. В супермаркет «Заря», на углу, рядом с бывшей прачечной. Геннадий Яковлевич посмеивался над привычкой жены Киры покупать продукты только *по скидочке*, даже если не нужно, даже если срок годности истекает. Потом жена Кира внезапно умерла от инсульта, а он все равно зачем-то продолжал ходить в ДК один. И сам, незаметно для себя, стал покупать все только по желтым ценникам: и пластилиновые сыры, и водянистые кислые помидоры, и отличающую влажным жиром серую колбасу, которую затем скормливал дворовым собакам. По вечерам он засыпал под юмористические передачи – совсем несмешные, но такие убаюкивающие, теплые, молочно-томленные. (Их почему-то любила жена Кира.) А потом внезапно у Геннадия Яковлевича окрасилась кровью моча. Иногда стали отходить червеобразные кровяные сгустки. Тотальная гематурия, полное растворение желтого цвета в спелой ягодной красноте. «Из меня словно мясные помои сочатся», – подумал он вслух на первом приеме, с растерянным, остолбенелым стыдом глядя в окно. И еще появилась боль в пояснице справа. Боль уже не пройдет никогда, даже если кровяных червячков больше не будет. И его мягонькой светлой душе до конца дней придется томиться в болезненной телесной темени, до краев наполненной водянистыми красными помоями.

А вот Снежана, сорок один год, два большущих лигатурных камня в мочевом пузыре. Ждет свою завтрашнюю цистолитотрипсию. Или не ждет. Скорее всего, она уже не ждет ничего. Упирается бессонными стеклянными глазами в больничную стенку, изученную вдоль и поперек за несколько часов. На этой стенке, среди трещин и шершавых корочек воспаленной розовой краски поселилось все ее немое отчаяние. Снежана всегда хотела стать матерью. Хотела, чтобы кто-то живой, солнечный, со сладковато-теплым запахом растопил ее одиночество. Чтобы этот кто-то полностью от нее зависел. И не ушел внезапно, как двое бывших мужей. Но матерью Снежана так и не стала. И уже никогда не станет. Не потому что возраст или отсутствие претендентов на отцовство, а потому что больше нет матки. Уже почти год как нет. Раньше была с миомой, а теперь нет никакой. Так разве имеет хоть какое-то значение, что *та самая* операция годичной давности прошла *не очень удачно*, что был ранен и ушит мочевой пузырь и что теперь в ушитом мочевом пузыре возникли эти несчастные камни? Разве *та самая* операция могла в принципе пройти *удачно*? И разве не плевать ей на какие-то камушки, затаившиеся в ее бессмысленном теле? Уже почти год Снежана чувствует себя выскобленной скорлупой с жалкими усохшими остатками мякоти. Почти год в ее квартире смеется, спорит и плачет только телевизор. И, наверное, она стерпела бы и боль внизу живота, и учатившееся мочеиспускание с примесью крови. Если бы сердобольная соседка, приносящая ей продукты, не вызвала врача, Снежана так бы и пролежала еще много лет, совершенно неподвижно, под непрерывно горящей люстрой, все глубже проваливаясь во внутреннюю бугристо-бордовую пустоту. Темнея и усыхая снаружи, словно оставленный на солнце фрукт.

А вот еще один фрукт. С ней в палате лежит шестидесятилетняя Александра Павловна со стрессовым недержанием мочи. Сквозь ее тревожный, дерганный сон прорываются мысли об утренней операции TVT-О. И о последующих днях. Как скоро она сможет вернуться к работе? Александра Павловна всю жизнь проработала медсестрой в педиатрическом отделении, всю жизнь безостановочно бегала, была всем нужной. А сейчас ее тело бесполезно лежит и подтекает, как мягкий гниловатый банан. Ей кажется – еще чуть-чуть, и кожа начнет покрываться темными пятнами гнили. Нужно срочно вставать, думается Александре Павловне сквозь сон, срочно бежать на работу. Не оставлять там одну Галину Витальевну и всех остальных. Нужно срочно жить, суетиться, не гнить в липкой лужице собственного бездействия. И Александра Павловна просыпается окончательно? и широко открывает в палатный полумрак беспокойные глаза, густо обведенные синевой и похожие на засыхающие чернильницы.

Или вот дальше по коридору – Никита, всего-то девятнадцать лет. Появился здесь с разрывом почки. Всего лишь пытался достать с дерева кота – по просьбе соседки тети Юли. И просто сорвался, просто неудачно свалился на край скамейки. Лежал потом несколько минут на земле в липком холодном поту, смотрел в обморочно-голубую небесную гладь. Смотрел на пугливую и в то же время любопытную морду кота среди густой листвы, насквозь пропитанной солнечным светом. Смотрел куда-то дальше, на недостроенные высотки, на котлованы, на прошлую и будущую весеннюю грязь у автобусной остановки и в набитом автобусе, на прилавок продуктового магазина, где работает грузчиком; на внутренности складского помещения, пропахшего прогорклым подсолнечным маслом; на собственный подъезд, наполненный острым прелым теплом. Думал о том, что через два дня собирался ехать в Москву. Не за чем-то конкретным и не к кому-то в гости. А просто в Москву. Чтобы сменить котлованы, автобусную грязь и запах прогорклого масла на что-то иное. Попытаться сменить.

Все эти люди существовали отдельно друг от друга, каждый со своей маленькой индивидуальной болью. А потом вдруг боль у каждого стала чуть сильнее – и вот они объединились этой больницей. Вера, конечно, сейчас не помнит точно, как кого зовут. И не знает наверняка, откуда, из каких конкретно глубин проросли их боли. Но разве это важно? Все они похожи, все бесконечно повторяются, возвращаются в разных телах и с разными именами в непрерывном болезненном круговороте. Для Веры все они давно слились в сплошной поток чужой боли.

Но чужая боль от этого не стала для Веры далекой, не превратилась во что-то рабоче-будничное, прохладное. Спустя годы мучительная изнанка чужих жизней все еще отзывается глубоко внутри Веры. Просто к ней, как и ко всему, можно почти привыкнуть.

Но сейчас, выходя на пустынную больничную лестницу, Вера внезапно чувствует, как за ребрами сжимается тонкий щекотный сквозняк. Хотя тяжелый жар из тропического сна все еще как будто преследует ее, обволакивает духотой. Жар тянется вдоль ступенек и сально блестящих стен, но внутри Веры возникает что-то неумолимо промозглое, холодящее. Она уже смутно догадывается, что значит этот внутренний сквознячок. Догадывается чутьем, но пока не хочет осмыслить. Оттягивает момент неизбежности до последнего.

Нужно просто идти. Просто спуститься в приемную. И провести обычный осмотр. А там уже будет видно.

Когда она пересекает лестничную площадку третьего этажа, переступает через обколотые плиточные квадраты, залитые желтушным светом, и проходит в коридор, сквознячок уже превращается в полноценный скользкий холод. Будто в теплоту Вериной крови пролилось несколько литров подтаявшего желе.

Люба сказала, что ему двадцать восемь лет... Всего двадцать восемь. Что же там может быть такого? Скорее всего, просто эпидидимоорхит. Тогда почему?... Может, мне все кажется? Мало ли, от переутомления.

Но Вера знает, что ей не кажется. И еще даже до поворота, даже до того, как она видит ожидающего у двери приемной больного, в голове у нее начинает серебристо звенеть *колыбельная*. Переливаться тихими, но настойчивыми колокольчиками. А когда больной наконец появляется в ее поле зрения, мелодия звучит уже на всю свою невыносимую, оглушительную громкость. Мелодия крошечных пирааний, ожидающих трапезы.

– Здравствуйте. Извините, я... – начинает говорить больной, поднимаясь с места при виде Веры. И не договаривает, наверное, что-то почувствовав в Верином взгляде.

Он стоит уже в метре и растерянно смотрит. На нем треники с отвисшими коленками и растянутая футболка белого цвета. И сам он весь белый, крупный, очень рыхлый, будто вылепленный из огромного куска пломбира – растопленного и замороженного заново. В глазах жарко мельтешит температурный блеск. На лбу и висках проступают крупные капли пота – словно росинки жира. Скатываются по розовым веснушкам щек. От неловкости он на секунду отворачивается, и под задравшейся на пояснице футболкой Вера видит кусок белой кожи с бархатистой россыпью родинок.

В этот момент она чувствует, будто в ее собственной спине, прямо под кожей, что-то тонко и больно натягивается.

Она на пояснице. Меланома. Воспаление яичка тут ни при чем.

– Проходите, – говорит Вера, открывая дверь в приемную.

– Извините, просто у меня...

– Да-да, я в курсе. Проходите.

Не поднимая больше на Веру глаз, он заходит внутрь. Проносит мимо свое воспаленное тело – тяжелое и влажное. Тело-мочалка, пропитанное мыльной пеной.

И Вера не знает, что будет ему говорить. Она знает лишь одно: что бы она ни сделала и ни сказала, он все равно уже не жилец на этом свете.

2

Не время жить

Чужая боль давно живет в Вере. В какой-то момент она словно раз и навсегда поселилась внутри Вериного тела, пробила себе дорогу среди прочих ощущений и с тех пор постепенно разрастается, разбухает, словно мокрая бумага. Иногда кажется, что еще чуть-чуть – и она целиком заполнит собой внутреннее пространство.

Впервые Вера стала свидетельницей чужой боли в семь лет.

Мама везла ее на день рождения к подруге Ясе. В автобусе было тепло; по-будничному и почти приятно пахло бензином. Только изредка кто-то двигал оконное стекло, и тогда в салон плескало чем-то сырым и несогретым. Вера смотрела и думала о предстоящем празднике, который непременно будет таким же теплым и убаюкивающим, как автобус. Мимо бесконечной каруселью текла головокружительная весенняя синева с пестрыми ларьками и витринами магазинов. Было хорошо, уютно и в то же время просторно, словно в первый день больших каникул. Но внезапно улица как будто резко развернулась и бросилась наперерез Вериному внутреннему теплу. Сначала возник перекресток, скованный неврозом машин с мигалками, милицейских и больничных. Затем несколько людей в засаленных синих куртках: они как будто устало и чуть раздраженно переговаривались наискосок. А чуть дальше возникла раздавленная машина с открытой дверью. Внутри, головой на руле, лежал водитель. Его тело показалось тогда Вере крохотным и жалким, словно куриная печенка. Крови не было видно: ни на самом водителе, ни на машине, ни на земле. Но в ту секунду кровь словно размазалась по всему весеннему небу – густым красным повидлом. А внутри Веры, где-то под легкими, распахнулась ледяная пустота.

– Не смотри туда! – твердо сказала мама и даже попыталась отвернуть Верину голову от окна.

Вера тут же забыла о празднике. Стала представлять себе, как сегодня вечером водитель не придет домой. Как в его квартире тревожно задребезжит телефон. И как жена водителя, прижав холодную трубку к уху, уставится в чернеющий провал окна. А может быть, даже уронит на пол суповую тарелку с полустертыми синими завитушками.

– Ну что ты вся скисла? – снова заговорила мама. – Ты ведь все-таки на день рождения едешь.

– Я не скисла, – пожала плечами Вера. – Я просто задумалась.

– Не думай об этой аварии. Иначе испортишь себе праздник. Такое бывает, ну что тут поделать. Мало ли бед и несчастий случается на свете! Жизнь коротка, в ней нет времени думать о чужой боли.

И Вера тогда впервые смутно почувствовала, что ее личное жизненное время и правда ограничено. Автобус ехал дальше, мимо по-прежнему проносились настырно цветущие ларьки и витрины, а в голове у Веры болезненно-остро скреблась новая мысль: *нет времени*. Нужно срочно забыть о водителе и о его жене с суповой тарелкой, потому что скоро будет праздник, будет Яся, будет ее мама с серебристым рассыпчатым смехом и заварными пирожными, будет третьеклассник Гоша, который так интересно рассказывает про маньяков. Все это будет, но закончится очень быстро. А если пустить водителя и его жену в свои мысли, то праздника не произойдет вовсе. Вера крепче прижала лоб к оконному стеклу, вдруг ставшему ледяным. Взгляд продолжал рассеянно следовать за проносящимся мимо городом, а в голове в такт ухабинам стучало одно: *забудь, забудь, забудь*.

Много лет спустя, когда Вера начала работать врачом, эта же мысль постоянно скреблась где-то на краю сознания. Вокруг болели, умирали, а Вера бесконечно бежала – узкими коридо-

рами, обшарпанными лестницами, шумящими суতোками; ехала – длинными улицами, ленивыми светофорами, будничными суматошными мыслями. Все дальше, все скорее, все резче. Времени останавливаться не было. И чужая боль жила в Вере молча, как бы незаметно, за пределами мыслей.

Но все-таки жила и разрасталась.

Следующей болью после водителя была тетя Лида.

В Верином детстве маме часто бывало не до Веры: ей приходилось вкалывать на двух, а порой и на трех работах. Пропадать где-то до самой ночи, до того часа, когда сигнализирующие улицы начинают затихать и город постепенно наполняется медленной текучей чернотой. Вериной маме отчаянно, всеми фибрами души хотелось зарабатывать. На отпуск, на Верину учебу (*в почти элитной школе, а не в какой-нибудь там тридцать седьмой*), на машину, на ремонт в квартире. Чтобы было не хуже, чем у людей. А желательно – лучше. Времени заниматься дочерью катастрофически не было. Поначалу мама пыталась запихнуть маленькую Веру одновременно в огромное количество кружков – спортивных, художественных, театральных, шахматных, – чтобы та, *во-первых, стала более самостоятельной, а во-вторых, не слонялась где-то по дворам без надзора*. В основном занятия проходили в местном дворце культуры – торжественно мраморном и немного нелепом в своей белоколонной бестолковой громадности. Но кружки оказывались все как один невероятно скучными, удручающе суматошными, и всюду нужно было бороться с бойкими, расторопными детьми за похвалу громогласных педагогов.

А бороться Вера не хотела.

– Вы уж простите, но ваша девочка совсем не старается, – неизменно разводили руками громогласные педагоги при встрече с мамой. – Лучше, видимо, подыскать ей какое-нибудь другое занятие. Она просто зря занимает чье-то чужое место.

И хотя от этих слов каждый раз где-то под сердцем начинала ныть маленькая необъяснимая червоточина, уход из кружка был несомненным облегчением.

– Надо подумать, куда тебя теперь записать, – с терпкой досадой в голосе говорила мама. – Сколько уже занятий перепробовали, и все тебе не подходит. Должно же быть где-то и твое место, в конце-то концов.

Но Верино место не находилось.

В итоге Веру стали все чаще оставлять с тетей Лидой и дядей Колей – *хоть под каким-то присмотром*. Иногда – в их теплой, сытно пахнущей слегка подгорелыми оладьями квартире. Но в основном – в неумолимо ветшающем дачном доме, где они обитали с апреля по октябрь, а порой и с марта по ноябрь.

Тетя Лида и дядя Коля зарабатывать не стремились. Они просто жили.

Мамина старшая сестра тетя Лида (*простушка неприветливая*, как говорила мама) работала гардеробщицей в детской поликлинике, на полставки. В дачный период ездила по утрам вместе с Верой из поселка в город на канареечно-желтом, тяжело дышащем автобусе. Вера отправлялась в школу, а тетя Лида – в пятиэтажное невзрачное здание рядом с вокзалом. Там, среди облезлых болотных стен, придавленных воспаленным, нарывающим желтоватыми подтеками потолком, и проходила «трудовая» часть ее дня. Пару раз и Вера побывала – в ущерб урокам – на тетилидином рабочем месте. До трех часов сидела на узкой кушетке тыквенного цвета в окружении ветвистых металлических вешалок. Хлебала маленькими глотками душистый чай из термоса и наблюдала, как тетя Лида с несуетливым достоинством обменивает пестрые шуршащие ветровки на треугольные пластиковые номерки.

Что касается дяди Коли, то он разъезжал по садоводствам на своем стареньком светло-бежевом «москвиче». За весьма скромную плату чинил людям бытовую технику, домашнюю утварь, сельскохозяйственный инвентарь. Выполнял работу с глубинным отрешенным спокойствием – только вертикальная морщинка между мохнатыми, будто хвойными бровями очер-

чивалась чуть резче. При этом дядя Коля имел за плечами красный диплом авиационного инженера и несколько лет работы – по словам мамы, довольно успешной. И окончательно брошенной из-за невозможности, как он сам говорил, «вдохнуть спокойно и оглядеться вокруг».

И Вере было у них хорошо. Хорошо среди их застывшей безветренной жизни. Хорошо от их приглушенных убаюкивающих разговоров за стенкой. Иногда между собой, иногда с гостями – такими же уютными и мягкими. Вера до сих пор постоянно вспоминает сырые, отекающие стены их дома, сладковато-острый запах гнили в старой беседке, куда так приятно было нырять летними жаркими днями. Вспоминает дощатый пол на веранде, когда-то выкрашенный в цвет молочного шоколада и с годами потемневший, но неизменно подпитанный щедрыми мазками света. Сосновый воздух – живой, смолистый, до краев наполненный солнцем и щебетанием. Брусничный закат, горящий над садоводством. И невесомо белеющий лунный полукруг.

Жизнь текла медленно и казалась густой, тягучей и сладкой, как сгущенка. Летом тетя Лида развешивала в саду белье, закидывала простыни на веревку полными белыми руками. Несколько минут с задумчивым удовольствием оглядывала сад. Поглаживала крупные родинки на плечах и ключицах, похожие на россыпь переспелой брусники. И неспешно возвращалась в дом.

– А куда торопиться? – говорила она и улыбалась, отчего ее щеки округлялись розоватыми сливами.

От теплой, почти парной белизны ее рук (никогда не покрывающихся загаром), от ее сладковатого фруктового запаха (словно от нагретых на солнце, слегка забродивших яблок) на душе становилось безмятежно. И каждой клеточкой тела ощущалось, что торопиться и правда некуда.

В начале осени часто ходили вместе в лес, и в надвигающемся холоде смолисто-грибные запахи ощущались острее. Земля постепенно остывала, покрывалась испариной. Под сапогами хрустели ветки, мягким уютным ковром поскрипывал мох. Либо сочно чавкал. В лесу можно было замедляться еще больше, еще дальше внутренне уплывать от суеты, никуда не бежать в тянущихся непрерывным потоком мыслях. И от этого становилось необычайно легко и свободно. Даже если мысли были горькими и немного болезненными – например, о задавленной кем-то собаке, бесформенно красневшей у обочины шоссе, или о стареньком одноруком школьном стороже, который казался Вере беспросветно, невыносимо одиноким. В болезненности мыслей не было ничего страшного. Ведь эти мысли можно было не запираť глубоко, не затаптывать в себя, чтобы *не испортить себе праздник, чтобы все успеть, чтобы не пропустить собственную жизнь*. Их можно было прожить, прочувствовать, слегка успокоить.

Были и другие мысли: о теплом сверкающем море, про которое рассказывала школьная подруга Тоня; о сказочном спектакле, на который ходили всем классом; об экзотических цветах из учебника естествознания, о лесе, ласково обступившем со всех сторон. И все это жило в самой Вере: и лес, и театр, и цветы, и море. Все уже было внутри, и спешить было незачем. Оставалось лишь плавно скользить между огромных медно-красных сосен, наклоняться за притаившимися во мху грибами, ощущать глубину бесконечно длящегося настоящего момента. Спокойное, неторопливое прочувствование мира и было для Веры самой жизнью – единственно возможной.

После леса возвращались домой с полными корзинами мимо застывших дач, скованных предчувствием заморозков. Из глубины садовых участков тянулся почти прозрачный горьковатый дым чьих-то костров. А позже и дядя Коля разжигал костер, и внутри Веры разливалось тепло. Хотелось просто жить и дышать, не тревожась о чем-то страшном, что затаилось где-то очень глубоко, в мутной толще жизни и ждет своего часа, чтобы всплыть.

К вечеру из дома начинал струиться упоительный запах ужина, заплывал в садовый воздух шелковистыми пряными лентами. Вскоре к нему примешивался терпкий аромат чая с чабрецом. А порой и церковный дух разомлевших свечек – если в поселке отключали электричество.

– Поедим жареных лисичек и подберезовиков, – говорила тетя Лида, ворочая по дну сковороды скользкие грибные ломтики в бурлящем масле. – А грузди и горькушки засолим, будем потом зимой радоваться, вспоминать сентябрь.

Когда ночью шел дождь, Вере часто не спалось. Она пробиралась на веранду, заглядывала сквозь приоткрытую стеклянную дверь в садовую темень, пронизанную водяными нитями. Из глубины сада тут же набегали волнами свежие густые запахи. Деревья стояли неподвижно, словно полностью погрузившись в себя, в собственную сырую черноту. И лишь время от времени вздрагивали от нависших капель, будто спросонья, хрупкие кусты смородины.

Иногда вдалеке с долгим щемящим шумом проплывали невидимые электрички. Вере с тоской думалось о людях, сидящих в сырых промозглых вагонах. Этим беднягам даже ночью приходилось куда-то ехать, спешить, с тревогой вглядываться в заоконное черное мельканье, бояться пропустить нужную станцию.

– Чего не спишь? – спрашивал дядя Коля, выходя на крыльцо покурить.

Вера в ответ пожимала плечами. Смотрела в сторону соседских участков, где крепко спящие дома лишь угадывались полупрозрачными влажными отпечатками на темном воздухе.

– Не знаю. О жизни думаю.

– Это хорошо, думай на здоровье. А то послезавтра тебе в школу, не до размышлений будет. Да и жизнь-то у тебя пока такая легкая, молодая, что и подумать о ней приятно.

Как-то раз Вера побывала в поселке и в январе. Почти сразу после новогодних праздников. Ходила гулять с тетей Лидой и дядей Колей по неподвижному зимнему лесу и долго-долго стояла с ними на вершине холма у опушки. Слушала стеклянно звенящую морозную тишину. Пыталась вглядываться в даль, но от яркой, лишь слегка тронутой сизыми тенями белизны густо слезились глаза.

– Вот посмотришь в сторону горизонта, и там все кажется таким миражным, таким неведомым, – прервал тишину дядя Коля. – Все тянется вверх, становится все прозрачнее, словно воздуха набирает. Как будто ищет соединения с небесами, пытается преодолеть эту границу между небом и землей.

– А может, и нет ее вовсе, этой границы, – отозвалась тетя Лида.

Затем небо внезапно потяжелело и пошел снег; к Вериному лицу наискось потянулись густые мокрые хлопья. Окружающая острая белизна немного смягчилась. Все трое начали медленно спускаться с холма – ровного, гостеприимно плавного, словно приглаженного заботливой ладонью.

– А мне вот все кажется, что снежинки, когда падают, проходят глубоко сквозь землю, – продолжила после длительной паузы тетя Лида. – Там и лежат в подземном ледяном царстве. А наверху только излишки остаются.

Вера молча кивала. От оседающих на веках кристалликов ресницы становились переливчатыми и тяжелыми, словно перед сном.

А потом тетя Лида заболела. Что-то страшное вострепнулось в глубине ее тела и принялось его методично расковыривать, разламывать.

Вера однажды приходила навещать тетю Лиду в больнице, где та лежала после химиотерапии. Ее обиталищем стала палата, наполненная безжизненным затхлым воздухом. Обезли-

ченная болезненно-сырая комната. Словно нутро заброшенного аквариума с гниющими водорослями.

Тетя Лида тогда показалась Вере жутко исхудавшей и словно потемневшей. Но изнутри ее тело все еще озарялось душой. И это бархатистое душевное свечение – совсем хрупкое, беззащитное – придавало ей глубоко спокойный и поразительно уверенный вид.

– Главное, Верочка, никуда не спеши. А то за спешкой и жизнь пройдет, – сказала тогда тетя Лида – уже не своим, привычно звонким голосом, а каким-то чужим, распухшим, гортанным, с вязкими комочками. Сказала и накрыла Верину руку своей рукой – тоже как будто чужой и неожиданно холодной.

Когда Вере исполнилось четырнадцать, тетя Лида умерла. Она лежала в гробу маленькая, растрепанная, очень серьезная и чем-то похожая на домовенка Кузю. Рядом стоял дядя Коля – высохший и скрученный, как позднеосенний лист. С надувшимися синеватыми жилками на висках. И мама – обычная и твердая. Мама вполголоса говорила дяде Коле про гнилой пол на дачной веранде, который необходимо поменять. И вообще про то, что «с их домом надо теперь что-то обязательно делать». А Вера молча смотрела на тетю Лиду в гробу и не понимала, при чем тут веранда и почему что-то обязательно делать надо именно *теперь*.

После похорон Вера мучительно долго думала, как же это так получается: даже такое крепкое, цветущее тело, как у тети Лиды, может неожиданно сломаться. Видимо, брак изначально присутствует в каждом, даже самом прочном, организме и в любой момент может о себе заявить. Получается, что все мы бракованные куклы, думала Вера.

Только вот где именно, в какой части тела живет этот самый страшный брак, приводящий к окончательной поломке, определить не всегда возможно. Отчасти, наверное, потому что тело и все, что с ним связано, – это нечто стыдное, унижительное, часто лишаемое прямого упоминания в разговоре и оттого непонятное, непредсказуемое.

Постыдность тела Вера усвоила еще в первом классе, когда Егор Капустин с четвертой парты неожиданно описался на уроке рисования. Девочки, сидящие рядом с Верой, смеялись громко, в полный голос, запрокидывали головы, влажно блестели крупными передними зубами. Отличница Регина хихикала нежным, переливчатым смехом, словно в горле у нее щекотно трепетала бабочка. Мальчики с задних парт фыркали, посмеивались в кулак, криво ухмылялись. Кто-то отпустил пару шуток про ясли. А лицо Егора Капустина потемнело, сморщилось и стало напоминать перезревший абрикос с подбитым бочком.

После уроков, передавая Егора родителям, классная руководительница Ольга Афанасьевна заявила, что *произошел неприятный инцидент*. Прямо не сказала, будто боясь запачкаться собственными словами. Словно предоставляя Егоровым родителям возможность самим догадаться о характере инцидента. При этом покосилась на своего ученика со смесью жалости и брезгливости. Точно так же она, наверное, смотрела бы на лягушку, которую случайно переехала на велосипеде.

Но еще большая порция брезгливости и смеха досталась Олеся Емельяновой, когда в восьмом классе она протекла прямо в коридоре, на большой перемене. У кого-то из мальчиков уже был в ту пору телефон с камерой, и, конечно же, *инцидент* был заснят на видео. А Олеся стояла среди обступивших ее одноклассников и казалась беспомощным маленьким зверьком с черными влажными глазами. От растерянности она сначала принялась вертеть головой во все стороны, тревожно высматривая, откуда еще может исходить опасность, где еще затаилась ловушка. А потом вдруг в ужасе замерла, словно раз и навсегда осознав, что главная жизненная ловушка затаилась внутри, в ее собственной мучительно стыдной телесности.

После *инцидента* Олеся Емельянова почти две недели не появлялась в школе. Кто-то даже поговаривал, что она пыталась наглотаться таблеток, но ее вовремя остановили. А Вера все никак не могла понять, почему ощущение собственного телесного «я» оказывается таким болезненным. Почему пятна менструальной крови на джинсах настолько унижительны – ведь они могут появиться у каждой, не только у Олеси Емельяновой. В них нет ничего персонального, исключительного. Чувство униженности не поддавалось в Вериной голове никакой логике, и тем не менее оно было понятно каждой клеткой тела. При мысли о произошедшем Вера ощущала чужой стыд почти так же остро, как свой собственный. Словно кто-то невидимый бесцеремонно хватал ее за сердце мокрой холодной рукой. Видимо, этот кто-то и создал Веру и остальных такими – жалкими бракованными куклами, изъяз в которых невозможно скрыть от чужих глаз.

Постыдность тела сыграла злую шутку и с Тоней. Гораздо более злую.

Вера отчетливо помнит, как в десятом классе они собирались пойти после уроков на каток.

– Я не могу, – внезапно сказала Тоня. И ее губы сложились в кривую тонкую ниточку, которая, видимо, должна была выражать загадочную улыбку.

– Почему? – спросила Вера. От загадочной улыбки внутри почему-то сделалось неподвижно. – Мы же собирались еще с позапрошлой субботы.

– Я знаю... Но не могу. Просто не могу, и все. Я занята сегодня. Потом тебе расскажу.

И Тоня рассказала. А через два дня Вера и сама увидела со школьного крыльца, как ее лучшая подруга садится в машину к своему *невероятному Ванечке*. Ванечка тогда показался Вере чуть ли не стариком, хотя ему, скорее всего, было не больше тридцати. Перед тем как сесть за руль, он несколько минут с кем-то весело разговаривал по телефону, а Тоня стояла рядом – покорно и неподвижно, словно выросший в землю цветок. Ждала. Затем, когда Ванечкин разговор закончился, Тоня что-то шепнула ему на ухо, и он на секунду обернулся к Вере. У него были квадратное крупнорубленое лицо и маленькие глазки – маслянистые и скользкие, словно маринованные грибки.

Больше Вера его никогда не видела.

Тоня с каждым днем будто расцветала. Но Вере от ее цветущей радости становилось не по себе. При каждом восторженном слове о *невероятном Ванечке* у Веры в голове почему-то возникали неприятные и не вполне отчетливые мысли, как будто свернутые тугими бумажными комочками. Тоня захлеб рассказывала, что у Ванечки в Москве какой-то *почти налаженный бизнес* и что в скором времени они вдвоем обязательно уедут *из этой глухомани*.

– Может быть, даже через пару месяцев, – добавляла она, и ее голос наливался таинственностью. – Я пока маме не говорила, но школу, скорее всего, оставлю. Мне и аттестат-то уже не пригодится.

Вера никак не могла понять, зачем Тоне бросать школу за полтора года до окончания ради московского Ванечкиного бизнеса. И комки неприятных мыслей скользили вниз и медленно расправлялись где-то за грудной клеткой, царапая острыми краями.

А потом Тоня и правда перестала ходить в школу. Правда, в Москву она так и не уехала. Когда Вера пришла к ней домой, Тоня сидела на кухонном полу – костлявенькая, бледная, с растрепанной мышиной косичкой. Зябко постукивала зубами, вздрагивала тонкими червячками губ. Казалось, ее тело было наполнено застывшей подмороженной кровью и если слегка и подогревалось, то исключительно снаружи – дыханием центрального отопления.

– И как мне теперь быть? – говорила она тихим бесцветным голосом. – Ведь у меня двоюродная сестра в поликлинике работает. Мама узнает. Все всё узнают.

– А Ванечка?

– Ванечка уехал. Ему срочно понадобилось в Мос кву... Но он вернется скоро.

Тоня закурила, и над неприбранным кухонным столом заструился, засобиравшись мягкими складками дым.

– И что ты теперь будешь делать?

– Не знаю. Мне просто хочется надеяться, что это как-нибудь само пройдет. Как грипп, например. У меня ведь к тому же и денег нету, чтобы сделать... ну этот. А главное, что не найти такого врача, которому можно довериться... чтобы не рассказал никому.

Вера смотрела сквозь дым, сквозь мутное кухонное окно туда, где плескалась серость пятиэтажных зданий. Смотрела и не знала, что сказать. Она тем более не знала, где найти такого врача. Все, что так или иначе было связано с телесностью – особенно со внутренней телесностью, – оставалось для Веры темным лесом. Мама как-то собиралась отправить ее к гинекологу: по словам мамы, нужно было обязательно проверить, все ли *там* в порядке. Но Вера притворилась простуженной, визит отменили, а потом мама за своими тремя работами и вовсе, кажется, забыла об обязательности проверки. К счастью. Потому что Вера совсем не хотела проверять это неведомое унижительное *там*, для которого даже нет нестыдного человеческого слова. А теперь оказалось, что и Тоня в свои пятна дцать лет совершенно ничего о *там* не знала, и это незнание в конечном итоге впечатало ее в одинокую безысходность прокуренной кухни.

– Может, все-таки расскажем твоей маме? – растерянно сказала Вера, сама понимая абсурдность своего предложения. Разве можно рассказать то, для чего нет нормальной словесной формы?

Тоня молча затушила сигарету и вновь принялась постукивать зубами, вжиматься в себя, в свое тонкое мурашечное тельце.

В тот день они долго, до самого вечера гуляли по городу. Февральское солнце светило непривычно ярко, отчего дома, машины и лица прохожих казались линялыми, сильно выцветшими. Словно пролежали всю зиму под толстым слоем снега и теперь потихоньку начали оттаивать. В забродившем воздухе тревожно пахло подступающей весной. Почти все время Тоня молчала. Слова никак не возникали, не хотели возникать.

Только к вечеру, когда неожиданно пошел крупный снег и они случайно забрели к магазину «Детские товары», Тоня вдруг остановилась и сказала:

– А что, может, просто оставить все как есть?

В ярко освещенной витрине кружились белые рыбки под тихую серебристо звенящую мелодию. Музыкальный мобиль для колыбели. Тогда они были еще не пираньями, а просто белыми пластмассовыми рыбками. Безымянными и незлыми. Просто равнодушными.

– Как это – оставить? – спросила Вера, неотрывно глядя на рыбок и стирая с лица холодные, словно мыльные, хлопья.

– Да вот так. Я уеду в Москву, найду там Ванечку. И мы купим вот такую колыбель с подвеской. А мама ни о чем не узнает.

Голос ее казался твердым, но каким-то несвежим. Будто просроченный пряник.

– А если ты не найдешь там Ванечку?

Тоня ничего не ответила. Еще несколько долгих минут они неподвижно стояли у витрины и слушали переливчатую колыбельную белых рыбок.

Спустя неделю, когда собственноручно расковырянное Тонино тело обнаружили в ванной, Вера даже не почувствовала своей вины. Не принялась корить себя за бездействие. Видимо, вина была настолько огромной, что просто не помещалась у Веры внутри. Внутри было пусто и обжигающе горячо. И эта горячая пустота беспрестанно пульсировала, словно нарыв.

На похороны Вера не пошла. Три недели беспомощно пролежала в кровати. Смотрела вокруг и ни о чем не думала. Мысли никак не вписывались ни в проем окна, ни в ромбическую геометрию обоев, ни в зелено-серые ковровые круги. Вера подолгу разглядывала маслянисто-желтые солнечные пятна на стене и на сбитом пододеяльнике. Иногда они сливались с желтизной масла на поверхности нетронутой остывающей каши, которую с упорством приносила в комнату мама.

Только к концу третьей недели в Верином мозгу начала робко шевелиться мысль о том, что, будь у Тони другая подруга на месте Веры, какая-нибудь сведущая в вопросах тела, решительная, бесстрашная девочка, умеющая не просто поддержать пустыми словами, а действительно помочь, весь этот кошмар, вероятно, обошел бы Тоню стороной. Но нет, место этой решительной девочки заняла Вера. И все обернулось непоправимой катастрофой.

Иногда рядом с Вериной кроватью появлялись школьные приятели и учителя, активно призывающие «крепиться духом». И от их участливых плотных голосов становилось совсем невыносимо. Одиночество, оставшееся после Тони, ни на секунду не ослабевало в присутствии этих неблизких живых людей. Наоборот, болезненно разрасталось, набухало, тягостно скрипело в каждой паузе между словами.

С мамой Вера ни разу прямо не поговорила о произошедшем. Только намеками, обрубками предложений. Пару раз мама сказала, что представляет, *насколько Вере сейчас нелегко*. Но в основном она лишь без конца твердила, что нужно *подниматься и как-то жить дальше, несмотря ни на что*, потому что *через год придет время поступать в институт, а к поступлению необходимо серьезно подготовиться*.

О поступлении беспокоилась не только мама, но и подавляющее большинство Вериных одноклассников. Жизнь поразительно быстро взяла свое, и уже через пару месяцев Тоня словно совсем забылась. Стерлась из общей памяти. Все как будто просто посмотрели тягостный, болезненный сон, маленький ночной кошмар, заключенный в скобки, а затем проснулись, перевернулись на другой бок и с легкостью нырнули в новое сновидение, никак не связанное с предыдущим. И в этом новом сновидении нужно было снова спешить, мчаться к своей цели, ни в коем случае не поддаваясь сонной окаменелости ног.

Но Вере очень хотелось поддаться оцепенению сна и притормозить. Завязнуть в болезненной дремоте. Она не понимала, как можно оправиться за такой короткий период. Да, можно принять анальгетик, замазать рану мазью, сказать себе, что «в жизни бывает всякое», – и вернуться к рутине, влиться в размеренную обесчувственную повседневность. Но ведь рана от этого в одночасье не заживет. Нужно время, чтобы поврежденные ткани регенерировали, много времени. Нужно осознать, отболеть, отлежаться. Однако Верины одноклассники, по всей видимости, справлялись без длительного этапа заживления. Словно они были слеплены из какого-то совершенно иного теста, и их восстановительные механизмы срабатывали почти мгновенно.

Поэтому на вечеринке по случаю окончания десятого класса Вера чувствовала себя беспрельдно, бездонно чужой.

Одноклассники сжимали одноразовые стаканчики, наполненные тошнотворно сладким вином; залиристо смеялись, шутили, с веселым садистским хрустом наступая на оброненные пластмассовые вилки. И делились планами на будущее. Говорили о сложностях поступления, о выборе вуза, о переезде в другие города и страны. В основном собирались поступать в московские вузы на *менеджмент* или *финансы*.

Уверенность в своем выборе излучали почти все, и Веру это не удивляло. Ее одноклассники, за исключением нескольких отпетых двоечников и разгильдяев, всегда были чрезвычайно твердыми, целеустремленными людьми. А еще невыносимо активными, наполненными планами до самых краев сознания (все-таки школа была *почти элитная, а не какая-нибудь*

там тридцать седьмая). Класа с восьмого эти активные люди не могли допустить даже крошечных пустот – ни в графике, ни в голове. Каждая крошечная пустота срочно должна была заполняться чем-то полезным и продуктивным. В основном всевозможными кружками и курсами. Ведь жизнь слишком коротка для праздного созерцания. И поэтому нужно было ни на секунду не останавливаться, нужно было бежать за пользой для себя, бежать без оглядки, самозабвенно. Как саблезубая белка за желудем. Вере иногда казалось, что ее одноклассники пытаются накопить свободное время на еще одну жизнь. Наэкономить столько свободных минут, чтобы хватило на долгие беззаботные годы. И как-нибудь потом, уже в другом облике и другой обстановке, сполна насладиться ими – кровными, нерастраченными. Предусмотрительно оставленными про запас.

Вера в следующую жизнь в принципе верила. По крайней мере, не отрицала, что после смерти возможно некое продолжение. Но оставлять время про запас ей совсем не хотелось.

– А ты, Веруня, что собираешься делать после окончания школы? – вдруг спросила отличница Регина, вытягивая зубами из пиццы сырные нитки.

Вера в ответ пожала плечами:

– Ничего. Пока ничего не собираюсь.

– В смысле – ничего? – вступил в разговор Антон Самсонов. – А куда ты думаешь поступать?

– Никуда. Во всяком случае, не сразу. В армию меня все равно не заберут.

– Ну а заниматься-то чем будешь после школы? – не унималась Регина.

От приторного вина и настырного чужого любопытства становилось душно и немного тоскливо.

– Я же говорю – ничем. Просто жить.

Отличница Регина залпом допила остатки желтоватой мускатной жидкости и чуть заметно скривила губы:

– Ну послушай, Веруня, после окончания школы не время просто жить.

Вера отвернулась и посмотрела в окно, на пышные кусты сирени, на дворовую помойку, покрытую кровянисто-ржавыми язвами. На неподвижные качели – тоже с воспаленной ржавчиной. Думалось о тете Лиде, о сентябрьском лесе, наполненном хвойными терпкими запахами и медленными мыслями. О Тоне. О том, что сейчас необходимо остановиться, до конца прочувствовать и успокоить боль. Чужую боль внутри себя. Пусть даже из-за этого она опоздает на экзамены, в институт, на праздник, на будущую работу.

– А когда время? – спросила она, не поворачиваясь.

– Уж точно не в ближайшие годы. Если ты сейчас не определишься, не решишь, чего именно хочешь от жизни, то потом с каждым годом будет все труднее, – важно заметил Антон Самсонов.

– Это точно, – кивнула Вера откуда-то со дна своих мыслей. – С каждым годом будет все труднее.

После окончания десятого класса Вера еще почти три месяца утопала в мучительных воспоминаниях. Без конца теребила их, словно медленно-медленно раскачивала ноющий зуб. Отчетливое чувство вины так и не появилось: внутри горячим кровяным ручьем текла только неспешная, бездейственная боль. Неспешность все больше затягивала Веру в себя. О настоящем и будущем не думалось вовсе – только о прошлом.

Так продолжалось до *того самого случая*. До тех пор, пока Вера не пришла одним августовским днем к магазину товаров для малышей. Туда, где они были с Тоней во время их последней прогулки. Туда, где в мутном завитринном воздухе плавали белые музыкальные рыбки.

3

Крылатая корова

На ощупь она очень теплая. Щедро испускает жар, словно крошечный живой обогреватель. Горячее воспаление лопнуло, раскрылось внутри плоти и принялось обживать. Раздвигать, растягивать плоть, завоевывая все новые миллиметры. Левая половина сильно увеличена, гиперемирована, кожа отечна. Болезненно-одутловатая человеческая оболочка. Складчатость сглажена. Верины пальцы мгновенно нащупывают уплотнение в области яичка. Плотный живой комочек чужой уязвимости.

– Здесь больно?

Вере, конечно, и так понятно, что больно. Тело под ее пальцами тут же вздрагивает.

– Ну... да.

Где-то под потолком остро дребезжит мошка. Верин взгляд быстро скользит по окну. Предутреннее небо над корпусами все ярче набухает синевой. Видимо, день будет жарким.

– Боль при ходьбе усиливается?

– При ходьбе? Да... Вроде бы усиливается.

– В поясницу или низ живота боль иррадирует?

– Что?

– Куда-нибудь боль отдает?

– Не знаю... не уверен.

Вера отпускает мошонку и не спеша отводит руку в голубой нитриловой перчатке. *«Куда торопиться?»* – звучит в ее голове крепкий, свежий голос тети Лиды. Других пациентов пока нет, а этот в любом случае приговорен.

– У вас, по всей видимости, острый левосторонний эпидидимоорхит. Воспаление яичка и придатка. Но нужно еще сделать УЗИ для уточнения. И сдать кровь на клинический и биохимический анализы. Ну, и придется полежать в стационаре.

– В больнице, что ли?.. Нет, я не могу. У меня сынишка дома.

– При вашем состоянии лучше остаться здесь у нас, под наблюдением.

– Нет-нет! – мотает он головой. – Я никак не могу. Мне сынишку не с кем оставить.

Да пусть и правда идет домой. Проведет чуть больше времени рядом с сыном. Времени, которого осталось очень, очень мало.

– Ну что ж, в таком случае от вас потребуется письменный отказ от госпитализации.

От бессмысленной, глубоко бесполезной госпитализации.

– Хорошо, напишу... А это воспаление... оно что, такое серьезное?

Он втягивает голову в плечи, слегка изгибая шею, словно большая испуганная черепаха. Выжидательно смотрит на Веру, обильно потея бело-розовой веснушчатой кожей и нервно смаргивая. А сквозь его шумное температурное сопение по-прежнему слышится *колыбельная*. Переливается серебристыми колокольчиками где-то в глубине Вериного сознания. И от этой мелодии внутри Веры расползается ледяной провал. Огромный, тянущий вниз, в себя.

– Серьезное. Но если сразу же начать лечение, то повода для переживаний нет... Пропишу вам антибиотики. От боли принимаете анальгетики. Я вам все сейчас напишу.

Да, повода для переживаний и правда нет... Разве есть смысл переживать из-за того, чего изменить нельзя? Все уже решено, нужно просто смириться. Просто принять чудовищную неизбежность.

– Будете соблюдать постельный режим... Поносите суспензорий...

Колыбельный пациент напряженно молчит. Видимо, чувствует, что повод для переживаний у него все-таки есть.

– То есть... Все будет нормально? – придушенным ломким голосом спрашивает пациент.
Нормально... нормально не будет никогда.

– В том, что касается эпидидимоорхита, если будете соблюдать все предписания, осложнений быть не должно, – отвечает Вера. – Но есть еще один момент, о котором мне нужно вам сказать. Это никак не связано с вашим теперешним состоянием. Я бы вам рекомендовала...

Вера чувствует, как от сердца до кончиков пальцев пробегает острая ледяная щекотка.

– ...Я бы вам рекомендовала обратиться к дерматологу... Как можно скорее.

Зачем я это говорю? Какой уже смысл ему обращаться к дерматологу, к онкологу? Разве что выиграть чуть-чуть времени. Совсем чуть-чуть. Несколько дополнительных месяцев напрасных надежд и мучительной, разрушающей боли. Необратимый процесс уже запущен.

– К дерматологу? – вздрагивает пациент, и его глаза мгновенно мутнеют, словно наполняются мыльной водичкой.

Вера опускает голову. Растерянно проводит ребром ладони по гладкой поверхности стола. Как будто сметает невидимые крошки.

Сумасшедшая Лора, конечно, сказала бы, что я делаю правильно. Наверняка сказала бы. Если бы могла еще хоть что-то сказать.

– Да, именно. У вас на пояснице есть большая родинка... Асимметричная и двухцветная. Ее нужно показать специалисту.

Он испуганно хватается за спину. Карамельная гладь стола ловит его резкое, почти инстинктивное движение.

– То есть... Все эти воспаление и температура... это из-за родинки?

– Нет, я же говорю. С родинкой это никак не связано.

– Тогда зачем мне идти к дерматологу?

– Вам необходимо проверить родинку на предмет ее возможного перерождения.

Пациент неподвижно смотрит на нее сквозь муть испуганных температурных глаз.

– То есть у меня, возможно, какое-то перерождение, а не этот... не орхит?

Вера беспомощно переводит взгляд на окно, словно там скрывается спасение. От родинки, от *колыбельной*, от замутненных глаз пациента. Несколько секунд молча разглядывает облупившийся подоконник, покрытый слоем липкой густой пыли, словно сероватым паштетом. Полупрозрачную занавеску, некогда бывшую прозрачной. Треснутый горшок с кактусом. Этот кактус растет ненасытно, жадно, разветвляясь сразу в нескольких местах. Отчаянно хочет жить – с полнотой, во все стороны. Как большинство стационарных больных, спящих сейчас этажом выше. Как *колыбельный* пациент, стоящий напротив Веры с так и не застегнутыми брюками. Как Тоня, сидящая в Вериных мыслях на прокуренной кухне. Как почти все. Кроме самой Веры.

– Возможно, да... Но не вместо эпидидимоорхита – он у вас есть однозначно. Так что антибиотики я вам все-таки выпишу.

Когда он уходит, *колыбельная* в Вериной голове наконец затихает. Ледяная пустота внутри оттаивает, откатывается прохладными каплями за пределы чувств. Но Вера *знает*, что это ненадолго. Просто потому, что надолго *колыбельная* не затихает никогда.

К утру число экстренных пациентов возрастает. Сначала появляется тридцатидвухлетний больной с подозрением на разрыв промежностного отдела уретры. С невозможностью самостоятельно помочиться. Сидит перед Верой – мускулистый, зеленоглазый, пряно пахнущий дезодорантом «со свежими цитрусовыми нотками». Нервно дергает локтем и ртом. А по щекам расплзается бархатистый густой румянец.

– Дайте мне другого врача, – говорит он надтреснутым голосом. – Не женщину.

– А что вам еще дать? – отвечает Вера холодно и стеклянно.

Но внутри бурлит горячая терпкая жалость. Потому что Вера чувствует, как непросто ему сказать ей, что после ночной драки его тело отказывается выделять мочу. Что такой привычный и такой *ззорный* механизм внезапно дал сбой. Что еще пару часов назад из наружного отверстия мочеиспускательного канала болезненно и обильно вытекала кровь. И он смотрит на Веру светло-зелеными крыжовенными глазами, сжимаясь в комок где-то на самом дне своего стыда и невыносимой постыдной боли.

Поняв наконец, что выбора у него нет, он все рассказывает. Про драку, про кровь, про безуспешные попытки помочиться. Выдавливает из себя скупые слова, глядя в сторону, на крепкий жизнелюбивый кактус. И Вера видит на его теле отражения сказанных слов: припухлость, гематому и грустную запекшуюся корочку крови у наружного отверстия уретры. Ретроградная уретрография подтверждает проникающий разрыв. Тело пациента с крыжовенными глазами требует срочной починки.

– Да, иначе никак, – говорит Вера, отправляя его в операционную.

Его застоявшуюся, запертую в темноте организма мочу приходится отводить путем эпидистомии.

После него в приемной появляется двадцатилетняя девушка с острым циститом. Сидит у стола вся скрюченная, словно пытается втянуться сама в себя. Тонкие руки по локоть зажаты между дрожащих колен. Лицо бугристое, бледно-восковое, с плохо замаскированными рубцами от угрей. Словно пористый и блестящий весенний снег. Вера смотрит на нее и представляет, как эта бедняга судорожно растирает по щекам дешевенькую пудру, прежде чем отправиться в больницу.

– Я просто переохладилась, – хрипло говорит она. И как будто в подтверждение своих слов заливается кашлем, расплескивая в воздух приемной свое сырое переохлажденное нутро.

– Как именно переохладились?

– Я просто... была за городом. И купалась ночью в озере. А вода была очень холодная. Вообще почти что ледяная. Она как-то не прогрелась, хоть днем сейчас и жарко. Я не знаю, зачем я туда пошла. Я вообще часто мерзну. И не очень люблю купаться. Но Владик очень настаивал. Владик – это мой парень. Ну то есть не совсем мой парень... но как бы вроде того.

Она снова заходится кашлем, и на ее глаза наворачиваются слезы, мельтешат горячими блестящими мошками. То ли от кашля, то ли оттого, что Владик все-таки не совсем ее парень, а хотелось бы, чтобы был совсем. Но такое явно невозможно, даже несмотря на ночное купание в озерном холоде, замутнившем и смешавшем с кровью ее мочу. И где-то очень глубоко внутри себя она всегда это знала.

Под конец дежурства к Вере является еще один индивидуум. Пятьдесят три года. С температурой, мучительным мочеиспусканием и сильными болями в малом тазу. Еще более стеснительный, чем тот драчун с разрывом уретры. Он стоит неподвижно и смотрит на Веру недоверчивыми студенистыми глазами.

– Что, прямо совсем снимать? – говорит он чуть слышно.

– Если не совсем, то как же мы с вами будем общаться? – отвечает Вера.

От усталости ей уже начинает казаться, что лицо пациента ей знакомо. К концу дежурства так обычно и бывает. Все увиденные лица словно наплывают друг на друга. Пропитанные влажным горячим смущением, они растекаются по краям и становятся похожими.

– А что, кроме вас, больше никого нет? – бормочет он, нервно сглатывая и озираясь по сторонам.

– А я-то вас чем не устраиваю?

В конце концов он все-таки сдается. Соглашается на осмотр. Но по-прежнему ничего не рассказывает о возможных источниках своего недомогания. Будто симптомы возникли сами

по себе, внезапно и беспричинно всплыли из глубины здорового, полнокровного тела. Вера пальпирует ему простату через прямую кишку – болезненная. А через компьютерную томографию в простате обнаруживается инородное тело. Неживое вкрапление в его живой измученный организм. Мочевой канал поврежден.

– Это все карандаш, – наконец признается он, задумчиво глядя в окно, в яркое, налившееся синевой небо. – И девушка моя. Ну так получилось, короче. Около недели назад, в общем, вышла история.

И Вера тут же от всего сердца ему сочувствует. Словно влажная теплая мякоть чьей-то ладони накрывает Верино сердце. Ведь ему, этому одинокому и уязвимому человеку, всего лишь хотелось доставить удовольствие своей молодой любовнице. И он попытался – как мог. Он не виноват, что тело со временем ветшает, изнашивается, теряет твердость. Ему просто пришла в голову мысль, что природную твердость может заменить карандаш, вставленный в мочеиспускательный канал. Не виноват он и в том, что карандаш в процессе сломался. И что затем ему удалось вытащить лишь одну часть, а вторая застряла, потонула внутри его тела.

– Почему так долго не обращались к врачу? Думали, рассосется?

Он молча пожимает плечами. Нет, он ничего не думал, просто терпел. Ему понадобилась почти целая неделя, чтобы боль стала невыносимой и наконец перекричала жгучий иррациональный стыд.

– Вам можно медаль выдать за терпение.

К девяти утра поток срочных пациентов затихает. Рядом периодически возникают медсестры; пару раз зачем-то появляется регистратурная Люба, врывается в приемную мокрыми кроличьими зубами. Вера сдает дежурство и спускается на первый этаж.

Рядом с больничным буфетом в незапно оказывается давешний *колыбельный* пациент, и серебристая мелодия на несколько секунд всплескивается в Вериной голове.

Господи, почему он все еще здесь? Он же собирался домой, к сыну. Даже отказ от госпитализации настроил. Что он делал все это время в больнице?

Он неподвижно сидит на банкетке. В его светло-голубых глазах уже, кажется, нет ни тревоги, ни температуры, ни мыслей – одна только бескрайняя небесная чистота. Нетронутая первозданность, божественность не осознающей себя природы. Он смотрит на листочек с выпи-
санным ему рецептом антибиотиков и застывает с приоткрытым ртом. Так и сидит в блаженном ступоре. Будто проветривает свои огромные внутренние чертоги.

Вера поскорее проскальзывает мимо него в буфет. Отчаянно хочется кофе, но вместо этого она берет стакан с рыже-бурым компотом.

Надо будет поспать, хоть немного поспать дома до прихода Кирилла. Постараться уснуть.

Едва она отворачивается от прилавка, как прямо перед ней словно из ниоткуда материализуется Константин Валерьевич с одноразовой чашкой больничного эспresso.

– Вера, постойте. Я не стал вас спрашивать при всех, когда вы сдавали дежурство. А вот сейчас спрошу. Что вы там наговорили пациенту по поводу меланомы?

– Ничего не наговорила. Отправила его к дерматологу.

– Он откуда-то выяснил, что я завотделением, подловил меня в коридоре и спросил, правда ли родинка может стать причиной орхита. Дескать, вы ему заявили, что все его беды от родинки.

Вера вздыхает и с унынием оглядывает надоевшую буфетную обстановку. Вокруг теснятся кривоногие столики, покрытые подсохшими кофейными пятнами землистого цвета. При виде этих заляпанных пластиковых уродцев у Веры каждый раз создается впечатление, что их взяли из какого-то прогоревшего привокзального кафе. Зато стулья рядом с ними величественные, парадные, обитые малиновым бархатом – словно из дворянских интерьеров. Из-за этих стульев Вера иногда ощущает себя здесь как в музее. Но не всегда. Стены и потолок обло-

жены бледно-голубым битым кафелем, и потому иной раз ей кажется, что она то ли в морге, то ли в душевой старого бассейна, не ремонтировавшегося с советских времен.

– Даже не знаю, что вам и сказать. За чужую твердолобость я не отвечаю.

– Дело тут не в твердолобости. Вера, скажите, вы опять решили взяться за старое?

– За старое?

– Этот ваш... так называемый дар. Вам опять стало казаться, что вы можете видеть то, чего не видят другие?

Вера резко ставит стакан с нетронутым компотом на ближайший столик. Зачем-то берет солонку и принимается перекачивать серые слипшиеся комочки соли.

– У меня нет никакого дара. И вижу я то же самое, что и все. Разве что порой немного четче.

– Вы сказали ему, что он умрет?

Вопрос скрежетнул, словно стул по кафельному полу. Константин Валерьевич смотрит внимательно, ледяными скользкими глазами.

Вера рассыпает соляной комочек на заляпанный пластик стола.

– Нет. Я никогда бы такого не сказала пациенту. А уж что он там понял и решил для себя – это меня не касается. Теперь позвольте, я пойду. Мое дежурство закончилось.

Она поворачивается и быстрыми шагами направляется к выходу.

– Может быть, вам взять пару дней отпуска? – раздается за спиной голос Константина Валерьевича. – Вы знаете, Вера, вы очень бледная. Я бы даже сказал белая, словно снежком припорошенная. Вы вообще нормально себя чувствуете?

Вера вздрагивает, но шага не замедляет.

Зачем? Зачем он говорит мне это снова? Хотя нет: почему снова? Наяву он такого еще не говорил. Или говорил?

Верина мысль зависает, будто всасывается в темноту сознания, как занавеска в темную комнату от порыва ветра. И теперь никак не вытолкнуть ее обратно к свету, не заставить колыхаться снаружи.

Наверное, это просто совпадение. Он ведь не может знать про Амазонку.

Колыбельного пациента рядом с буфетом больше нет.

Вера выходит из больницы в наружный мир, ныряет в волну всепоглощающего жара. Пересекает больничный двор и соседнюю улицу – скорее, к холму с коровой. Посидеть на траве, успокоиться. Привести мысли в порядок.

Молочные ракушки облаков на небе редки и неподвижны. Жаркий ветер вяло передвигает по тротуару обертки от хот-догов, и в этом словно кроется предчувствие осени и опавших листьев. Однако воздух почти сразу пресыщается движением. Плавно замирает – плотный, горячий, сонный.

Но Вере внезапно хочется поскорее выбраться из жаркого летнего ступора. Она почти бегом взбирается на холм, к *корове*. Плюхается на траву, приваливаясь плечом к прохладному каменному постаменту. Здесь можно немного остыть, обновиться, вернуться к себе.

После работы Вера часто приходит посидеть рядом с *коровой*. На самом деле это вовсе никакая не корова, а бронзовый скелет Пегаса. Подарок городу от одного современного скульптора, имени которого Вера не помнит. Кажется, эта статуя должна символизировать «изнанку творческого вдохновения». О ней был даже снят небольшой репортаж – несколько лет назад, когда ее только водрузили на холм.

Но Вере она больше напоминает скелет крылатой коровы.

В *той самой* книге среди прочего рассказывалось о жертвенных коровах, отдаваемых на съедение пираньям. В основном это старые больные животные. Отпахавшие свое, поломанные

временем изнутри. Во время половодья Амазонки погонщики переправляют скот на возвышенные места. Через реку, кишашую голодными острозубыми рыбами. И чтобы стадо могло безопасно перебраться через мутную опасную воду, погонщикам каждый раз приходится выбирать корову-жертву. Ту самую, которую раньше других загоняют в реку – в нескольких сотнях метров от места переправы. Причем сначала корову слегка ранят. Чуть всковыривают плоть, выпуская наружу заманчивый кровавый дух. Покорное животное погружается в реку, в поток коричневатой-липкой тропической крови. Деваться больше некуда. И уже через минуту кровавые потоки несчастной коровы и тропиков густо смешиваются друг с другом. Со всех сторон на беспомощное коровье тело налетают челюсти-бритвы. Окружают свою огромную жертвенную тушу, жадно кромсают ее, отхватывая по кусочку. Быстро и четко, словно крошечные ножи мясника. А в это время стадо преспокойно переходит реку, прикинувшуюся кроткой и миролюбивой. Вся ее плотоядность сосредоточена в одном-единственном месте – в полукилометре от переправы. И пока здоровые, крепкие коровы идут за продолжением своей полнокровной жизни, их бывшая больная составница барахтается в мутной кровавой толще. Еще пытается смотреть вверх, и ее невыносимая боль ударяется в тяжелое душное небо, в извилистую лиановую зелень, в глаза тонких проворных игуан, настороженно выглядывающих из-за веток. И рикошетит все туда же – в мутную речную воду, ставшую красной. Река словно кренится, переворачивается и полностью накрывает собой корову. Черное ничего наконец-то полностью заглатывает живую душу, уже беззубым, равнодушно-безболезненным ртом. Все заканчивается, и пираньи доедают бесчувственное мясо.

Вере хочется думать, что скульптура рядом с ней – это такая вот обглоданная до костей корова, которая вырвалась из водной мути, воспарила над рекой, над джунглями, над своим бывшим стадом, над погонщиками, обрекшими ее на мучительную гибель. Пронеслась тысячи километров по воздуху и опустилась на холм рядом с Вериной больницей. А репортаж про Пегаса и про изнанку вдохновения – это все ерунда. Это все привиделось.

Несколько минут рядом с *коровой* всегда успокаивают. С холма открывается довольно обширный вид. На больничный двор, на корпуса, на небольшой пустырь за больничной часовней. Кусочек пустоты, покрытой битыми стеклами и окурками. Чуть дальше, правее, – заброшенный стадион, весь заросший лопухово-репейниковыми злокачественными опухолями. А левее, через две улицы, уже совсем недалеко от Вериного дома, неразличимого за строительными кранами, высится бизнес-центр «Новый город». Его построили восемнадцать лет назад, когда Вера еще училась в школе. Это высокое здание со стеклянистыми, словно залитыми густой синеватой жидкостью этажами многим тогда казалось чем-то нереальным, чуть ли не сказочным и таящим в себе безграничные перспективы богатства и процветания.

– Вот будешь хорошо учиться, пойдешь потом работать в «Новый город», в какую-нибудь фирму, – говорила в ту пору мама. Ей очень хотелось, чтобы дочь получила *престижно-денежную профессию*. А средоточие престижности и денежности располагалась, по ее мнению, именно в недрах «Нового города».

Веру туда никогда не тянуло. И сейчас, сидя возле *коровы*, она с равнодушием смотрит на стеклобетонную громаду, укрывшую в себе множество просторных офисов, выстуженных кондиционерами.

Зато он наверняка бы сейчас там работал. Если бы не уехал в Манаус. Стал бы директором филиала банка или топ-менеджером какой-нибудь страховой компании.

Вера рассеянно проводит взглядом по искрящимся на солнце этажам. Там, внутри, сейчас, наверное, шелестят бумаги, ласково звенит приехавший лифт, жужжат эскалаторы и кофейные автоматы. Деловитые люди проходят по коридорам, сверкающим ледяными белоснежными плоскостями; возносятся в рай последних этажей, где самый немыслимый вид из окон и самые *престижные* компании, вроде «Cumdeo». Или, наоборот, спускаются в под-

земный паркинг-ада, где в полумраке бетонной сырости стынут неподвижные железные чудища. Так они и проводят дни, деловитые люди, заменившие *его* – Диму Коршунова, который уехал *далеко*.

Внезапно вибрирует телефон. Вера тут же чувствует, как все ее тело сдавливает тяжелый холод. Словно от размокшей в ледяной воде пуховой куртки.

Наверняка что-нибудь с пациентом, как всегда, первым делом проносится в голове.

Но нет. Сообщение на электронную почту. От какого-то Киселева Валентина Федоровича.

«Вера, дочка, я знаю, что виноват перед тобой. Я понимаю, что это странно, но я бы хотел с тобой встретиться...» – так начинается письмо.

А это еще что за бред, думает Вера и не замечает, как произносит это вслух.

4

Конвертик

Верина мать, беременная ею, тридцать с лишним лет назад совершила оплошность. Она случайно выбросила в мусорный дворовый контейнер деньги, предназначенные для аборта. «В таком бело-зеленом новогоднем конвертике с оранжевыми елочками», – говорила она не раз, шумно вздыхая и мечтательно закатывая глаза к потолку. Новогодний конвертик с елочками незаметно ускользнул во всеядное помоечное нутро вместе с прокисшим новогодним салатом (аппетита у Верининой мамы не было) и менее новогодними флакончиками из-под настоек боярышника и валерьянки. Верина мама спохватилась уже у самых дверей поликлиники. Резко повернувшись, заехав локтем по груди медбрата, курящему у входа. Со стеклянными глазами помчалась обратно к дому, словно против шерсти гудящих улиц. Новогодние деньги в елочном конверте выдал Верин папа, и других таких не было. В принципе не было не только таких, а вообще никаких. Верина мама бежала отчаянно, из последних сил, поскользываясь каждые десять метров и задыхаясь от мелких кусачих снежинок. Чуть не попала под двадцать второй трамвай. Но, оказавшись во дворе, вдруг остановилась в двух шагах от распахнутой помоечной пасти. Словно налетела на невидимую стенку. Несколько секунд неподвижно простояла, слушая свое прерывистое дыхание. Помойку стало засыпать все более крупными и частыми снежинками. И в голове Верининой мамы тоже как будто начался снегопад. Повалил густой снег, медленно засыпая прагматичные мысли. И она решила не искать елочный конверт под слоем мусора. Если он там очутился – значит, там его место и предназначение. Скорее всего, он ускользнул в помойку не так уж случайно. В этом наверняка есть какой-то знак судьбы. А судьбе лучше не противиться. Ведь в любом случае где-то наверху, на небесах, за нас уже все решено. И лучше просто спокойно принять это решение небес.

В эту минуту черное ничего, уже готовое вновь втянуть Верин зародыш обратно в себя одним-единственным волевым глотком, окончательно отступило. Снегопад все усиливался. Крупный снег наполнял собой воздух, словно замирал в полете, не достигая земли; стекал горячими каплями по лицу Верининой мамы. А она продолжала стоять возле помойки и мысленно улыбаться своему решению. Где-то под сердцем даже встрепенулся и радостно забил крыльями травмированный праздничный дух. Все-таки наступил новый год, и он обязательно должен был принести перемены к лучшему. Успокоительное тепло потекло по венам, будто в противоход заполнявшей пространство зиме.

Этот эпизод, рассказанный Вере спустя много лет, так и не смог уложиться в ее голове. Вера отчаянно пыталась найти ему хоть какое-то логическое объяснение. Но не находила. Словно эта сцена возникла не в реальной жизни, а где-то за гранью, в туманной белой мякоти параллельного мира. Невозможная, немислимая сцена. Такого быть просто не могло. И тем не менее это было. Рациональная Верина мать смотрела, улыбаясь, не на помойку, проглотившую немалые и такие нужные деньги, а куда-то вверх, в сторону небес, решивших судьбу конвертика. Туда, где белые хлопья липли к блекло-оранжевому фонарю, глядящему в утреннюю серость; где стены хрущевок устало кренились навстречу тяжелым январским тучам. И после долгих созерцательных минут неспешно побрела домой, так и не расплескав свою мысленную улыбку.

Отца Вера никогда не видела. Даже на фотографии.

Родители познакомились в какой-то однодневной загородной поездке, и этого одного дня хватило, чтобы Верин зародыш возник из черного ничего. Отец узнал о таком неожиданном возникновении спустя месяц. Вместо бурной кипучей радости выразил твердое желание впредь никогда не слышать о зародыше. Мало того: не дать ему развиваться во что-то большее. Для этой

цели Верин отец даже договорился с врачом и занял у друга энное количество денег. Мать сначала почему-то яростно упиралась (зачем прагматичной, ни капли не сентиментальной женщине был нужен ребенок от практически незнакомого человека – Вера так и не сумела понять). Но затем безденежье и отсутствие *нормального* жилья активизировали в ее голове привычные, холодно-рациональные мысли. И она все-таки приняла от Вериного отца новогодний конвертик с необъяснимо оранжевыми елочками.

О том, что этот конвертик в итоге остался лежать на дне дворовой помойки, Верин отец узнал тем же вечером. Мать позвонила ему и заявила, что «приняла решение все-таки не противиться судьбе». После чего повесила трубку и больше никогда не пыталась связаться со своим однодневным ухажером. Ухажер, в свою очередь, также не стал предпринимать попыток сближения.

По словам матери, она потом «не очень сильно жалела», что родила Веру. Правда, ей больше хотелось мальчика, она даже имя ему придумала: Митенька. В честь какого-то друга детства, который в старших классах продавал самопальные гитарные примочки и на вырученные деньги водил Верину маму в кино. «Митенька был очень предприимчивым», – вздыхала она. Ей мечталось, чтобы ее сын оказался таким же. Увы, Вера не оказалась ни предприимчивой, ни сыном. Но так уж сложилось, Митенькино место было безвозвратно отнято и занято ординарной, ничем не примечательной девочкой без особых талантов и амбиций.

В итоге Вера росла с одной только мамой. Больше тридцати лет отец не принимал в ее судьбе никакого участия. А теперь вдруг каким-то образом узнал Верин электронный адрес и решил нагрянуть в ее жизнь. Как гром среди ясного неба.

Вере абсолютно не кажется, что ее отец в чем-то перед ней виноват. Более того: она считает своего отца жертвой и нередко думает, что на его месте подала бы на мать в суд. То есть, конечно, не подала бы, потому что суд – это слишком хлопотное и муторное дело, и от него так и веет страшным кафкианским духом. Но по крайней мере, на месте отца Вера была бы очень возмущена и даже разгневана из-за рождения нежеланного ребенка. Ведь он не хотел быть отцом, а его заставили. Воспользовались его биологическим материалом и выскребли из небытия целого живого человека. И он ничего не мог сделать, не в силах был помешать этому рождению. Просто беспомощно слушал, как Верина мать говорила ему в трубку о *своем* окончательном решении. Это наверняка было невыносимо. Наверняка внутри отца в тот момент разлилось вязкое густое отчаяние – непроходимое, словно илистый берег. Вера иногда радуется, что с ней такого никогда не произойдет. Никто не сообщит ей по телефону, что ждет от нее ребенка и что этот ребенок обязательно родится, хочется ей того или нет. И вообще она может спать спокойно, не тревожась, что где-то в мире живут ее дети, рожденные без ее ведома и согласия.

К тому же Вера и сама бы предпочла, чтобы тот новогодний конвертик не выскальзывал в помоечную ржавую пасть. По крайней мере, время от времени ей кажется, что так было бы лучше.

Некоторые Верины знакомые очень переживают, что после их смерти мир никак не изменится. Причем больше всего этих людей волнуют именно первые дни *мира без них*. Потом, через годы и века, все уже не столь принципиально. Их переживания так далеко не идут. Возможно, им кажется, что время лечит и после смерти. Но скорее всего, их просто не интересует чужая реальность – посторонне-холодная, неродная. То, что будет с миром через много лет, – неизвестно, недоступно, а значит, и неважно. «Зачем переживать о том, что меня уже *совсем* не касается?» – рассуждают они. И действительно, в далеком будущем все в любом случае будет иначе, и к Вериним знакомым этот далекий непредсказуемый мир не имеет никакого

отношения. Другое дело – мир сегодняшний, понятный, согретый их бесперебойным дыханием; мир, в котором они живут и который им придется оставить. «Как же так, на следующий день после моей смерти пятый автобус пойдет по тому же маршруту, алкоголь все так же не будут продавать до одиннадцати утра, а соседи из тридцать восьмой квартиры продолжают ругаться по субботам». Ну и ассортимент товаров в магазинах останется прежним, президент будет прежним и передачи по телевизору тоже, наверное, будут прежними. Верины знакомые перестанут существовать, а мир этого не заметит и продолжит плыть своим чередом. Безразличное к мелочам, широкое течение жизни не остановится и даже не замедлится.

Веру же никогда особенно не беспокоило, что будет происходить в жизни, когда она из нее уйдет. Но порой она думает о мире, в котором ее *еще* не существует. И так же, как ее знакомых волнует равнодушный мир *непосредственно после* их жизни, Веру почему-то интересует мир *непосредственно до* ее возникновения. Несколько дней, недель, месяцев – максимум пара-тройка лет до ее зачатия. То, что было раньше, уходит слишком далеко от ее временных рамок. Это все еще как будто ее не касается.

Вера иногда мечтательно представляет себе, как мир плывет своим чередом, а ее еще нет. Она пока не существует. Никто не замечает ее отсутствия, и это дает ей полную, опьяняющую свободу. Ее жизнь еще не определена, жребий не брошен. Просто туманный *некто* должен появиться на свет в каком-то теле, на каком-то участке земного шара. Пока что есть лишь полупрозрачная сущность, которая со временем может уплотниться, сделаться теплым, живым организмом, проводящим безостановочные витальные соки.

Вера – еще не ставшая собой – стоит в тесной, плохо освещенной прихожей жизни. Перед ней приоткрытая дверь, но она еще толком не видит, что происходит там, внутри. Лишь с трудом различает смутные, словно подернутые рябью образы. Слышит чьи-то голоса на неизвестных языках: языки – все до одного – ей не понятны. Но Вера знает, предчувствует, что там за дверью много, бесконечно много боли.

Пока Вера стоит перед входом в жизнь, пока еще не решено, в какой точно момент, в каком месте и при каких условиях она возникнет, у нее есть огромный потенциал. Ведь она может родиться в любом человеке. Например, в здоровом толстощеком мальчике, которого так ждали в этой алжирской семье, уже четыре года проживающей в Виллербане. Позже он, вероятно, пойдет по стопам отца и станет механиком. Или же Вера может появиться на свет в теле этой недоношенной английской девочки, зачатой в результате дефекта презерватива. Неизвестно, что с ней станет в будущем. Где она будет жить и чем заниматься – сложно предсказать. Но вот насчет той китаянки Вера почти уверена: она вряд ли когда-нибудь покинет свою деревню в провинции Гуйчжоу. Ей такое даже в голову не придет. Да и практически нет вероятности, что подвернется подходящий случай. Напротив: этот потенциальный швед, скорее всего, объездит полмира. (Возможно, он станет программистом, но это лишь Верино предположение.) Течение его жизни будет зависеть исключительно от его воли: ему повезет родиться в обеспеченной семье, и препятствий для исполнения желаний практически не окажется.

Но в любом случае все эти люди – уже реализованные во времени и пространстве – будут испытывать боль. И Вере, мысленно стоящей в прихожей жизни, всякий раз хочется там и остаться, навсегда запереться в своем уютном несуществовании.

Отец, настаивая на аборте, думал, скорее всего, не о Верином небытийном уюте, а о собственном, бытийном. Так или иначе, если бы мать его послушала, им всем троим было бы лучше. Отцу, которому не пришлось бы становиться отцом против своей воли – пусть даже только в биологическом смысле. Вере, которой не пришлось бы столкнуться с болью – чужой и своей. И матери, которой не пришлось бы вкалывать на нескольких работах с утра до позднего вечера, чтобы обеспечить маленькую дочку всем необходимым.

К тому же кто знает, как сложились бы отношения родителей, если бы Вера не родилась. Возможно, спустя время, избавленные от невроза внезапного зачатия, они и сошлись бы. И у них родился бы желанный и *предприимчивый* сын Митенька.

Как бы то ни было, Вера не чувствует к отцу ни капли злости. Просто не понимает, зачем ему писать ей сейчас, столько лет спустя. Зачем ему вообще ей писать. К чему им видеться?

«Я понимаю, что это странно, но я бы хотел с тобой встретиться...» – с недоумением перечитывает она.

Да уж, действительно странно.

«Я виделся на днях с твоей матерью. Она мне рассказала немного о тебе, о том, какая ты красивая, успешная, целеустремленная».

А это уже совсем какая-то фантасмагория.

Веру поражает не столько тот факт, что ее мать, оказывается, виделась с отцом и ничего ей сказала. Они с матерью не так уж часто созваниваются и крайне редко пересказывают друг другу события из своей жизни. Самым удивительным кажется то, что мать назвала ее «успешной» и «целеустремленной». Эти определения и звук маминого голоса никак не могут собраться в пазл в Вериной голове. Так и крутятся отдельными деталями, постукивая о черепную коробку.

Вериная мать в последние годы только и делала, что жаловалась всем своим знакомым на дочь, эту *безамбициозную лентяйку*, которая могла бы добиться многого, но довольствуется *работенкой в убогой городской больнице*.

Когда Вера решила поступать в медицинский институт, да еще и не в Москве, мать была в шоке.

– Ты ведь... понимаешь, какая жизнь тебя ждет? – говорила она, переходя с шепота на сдавленный полукрик. – Какие... перспективы, зарплата... здесь, у нас... Представляешь условия? А еще и...

У нее все никак не получалось ясно сформулировать свое негодование, свою глубокую, почти утробную растерянность. Едва фраза начинала выстраиваться, как тут же осыпалась, словно кривая башенка из влажного песка.

Вера не отвечала. Молча смотрела за окно, в синюшное ветреное небо. Мысленно проваливалась в вязкие тени, незаметно подступающие к законной улице, словно комки к горлу. После *пираний* ей не хотелось ни спорить, ни объяснять, ни доказывать.

Со временем мать, конечно, смирилась с Вериним поступлением. Но надежда на *лучшую жизнь* для дочери еще долго ее не покидала. Сначала она ждала, что после окончания Вера переедет *хотя бы в Москву*. Затем стала надеяться, что дочь устроится в частную клинику (как большинство ее однокурсников). А под конец принялась настойчиво напоминать, что можно *уж по крайней мере защитить кандидатскую. Чтобы хоть как-то продвинуться*.

Ни одной из материнских надежд Вера не оправдала.

– Зачем? – устало спрашивала она. – К чему это все?

Мать смотрела в ответ со скорбным непониманием, и ее пушистая рыжая голова иступленно раскачивалась, будто одуванчик на ветру.

– Как это зачем, как зачем! В этой жизни нужно бороться. Добиваться всего. Через усилия, иногда через боль, через кровь. А как иначе?

Вера не знала, как иначе. Но бороться не хотела. Тем более через боль и кровь. Этого в Вериной повседневной жизни вполне хватало и так.

Отцовское письмо медленно расплывается по экрану.

«Мы могли бы увидеться с тобой, когда и где тебе удобно. Нам столько всего нужно рассказать друг другу... Надеюсь, ты не очень злишься на меня и постараешься выслушать и понять. Я прекрасно осознаю, что упущенные годы, которые мы прожили вдалеке друг от друга, никогда уже не наверстать. Что прошло, то прошло. Но у нас еще есть время в будущем».

Нет, это какая-то ошибка. Или, скорее, чья-то глупая шутка. Хотя кому придет в голову так шутить?

Вера перечитывает раз за разом адресованные ей строки, и перед глазами уже болезненно распухают сцены встречи с отцом. Вот он сидит напротив, почему-то в больничном буфете, и повторяет фразы из собственного письма. У него хрипловато-сырой тяжелый голос, и слова выходят комковатыми и вязкими. Все про те же «упущенные годы» и «вину». Лицо мягкое, измятое и раскрасневшееся, словно слегка подгнивший помидор. Такое бывает у некоторых пьяниц, хотя, возможно, Верин отец вовсе не пьет. Глаза янтарно-каштановые, как американский амбер-эль, пенятся слезами раскаяния. А Вера нервно глотает рыжий компот со скользкими сухофруктами – другого в больничном буфете нет – и часто моргает.

К чему весь этот бред? Что мы должны друг другу рассказывать? Мы чужие люди.

Слова отца в голове звучат все громче, все навязчивей. Постепенно уносят Веру прочь от реального мира. Будто товарный поезд с бесконечными гремящими вагонами, которые отрывают все прочие звуки. И лишь внезапные раскаты грома возвращают ее обратно на холм – к корове, не принесяшей на этот раз успокоения.

Гроза еще далеко, но воздух уже становится свежим и густым, словно застывший кисель. Небо медленно отекает, покрывается лиловыми гематомами туч.

Нужно вернуться домой и немного отдохнуть. Просто забыть про это недоразумение и выспаться. А письмо удалить.

Но Вера письмо не удаляет. Сует телефон в карман, поднимаясь с места, и быстрым шагом идет к дому.

Ветер оживился и теперь уже тянет по асфальту не только обертки от хот-догов, но и людей. Прохожие нервно ускоряют шаг, некоторые даже бегут, предчувствуя холодные капли за воротником. Игнорируют рекомендацию «расслабиться и не спешить» от белокурого юноши с рекламного щита. Юноша пьет малиновый кефир и при этом так самозабвенно прикрывает глаза, словно в бутылочке у него вовсе не кефир, а как минимум «Cheval Blanc» сорок седьмого года.

Домой Вера идет дворами, напрямик. Хочется поскорее оказаться у себя, закутаться в плед и отрицать действительность. Отрицать чужую боль, письмо отца и странное замечание Константина Валерьевича по поводу Вериней бледности.

Дворы текут мимо потемневшей вереницей хрущевок. Не сбавляя шага, Вера машинально скользит взглядом по знакомым исписанным стенам. Надписи на стенах делятся по содержанию на два типа: радикальные призывы к чему-либо и констатацию каких-либо фактов. Вот, например, у второго подъезда третьего двора Веру призывают к вооруженному восстанию. А чуть дальше, сразу после кафе «Кафе», Веру информируют о том, что некая Лена Ефремова из седьмого «Б» очень непредвзята в выборе половых партнеров. Утверждение почему-то проиллюстрировано схематичным фаллообразным рисунком (вероятно, имеется в виду собирательный образ всех партнерских фаллосов). Сразу за иллюстрацией – новый призыв, на этот раз к активному игнорированию какого-то Семена. И тут же сообщается, что Семен (по всей видимости, тот же самый) предпочитает вступать в отношения исключительно с лицами своего пола.

И ведь ни одного вопроса, пусть даже риторического, каждый раз с удивлением отмечает Вера. Одни лишь однозначные выводы. Сплошная решимость и такая крепкая, такая непоколебимая уверенность в своем видении мира. Можно только позавидовать.

И вдруг прямо перед Верой, на желтоватом потеке стены, возникают кровавистые, чуть размытые буквы:

Para que conheçais a que chega a vossa crueldade, considerai, peixes, que também os homens se comem vivos assim como vós

Вера вздрагивает, натолкнувшись взглядом на новую, не виденную раньше надпись. Фраза кажется смутно знакомой, и внутри почему-то тут же становится туманно. Мысли скользко ползают в голове недоваренными улитками, никуда не приползая. Весь Верин мозг как будто погружается в липкий улиточный бульон. Бестолково и болезненно в нем барахтается, от стенки до стенки черепа. И в таком мучительном смешении мыслей Вера пересекает на автомате последний сквозной двор и оказывается прямо напротив «Нового города».

В этот самый момент из здания бизнес-центра выходит мужчина. Довольно высокий, крепкий, примерно Вериного возраста. Точнее, не выходит, а выплывает из-за синеватых прохладных дверей. Величаво вышагивает вниз по ступенькам, словно павлин по райскому саду. А в двух ступеньках от Веры он вдруг останавливается и внимательно на нее смотрит. Вера тоже замирает, скованная внезапным гибридным чувством, помесью радостной кипучей надежды и смутного утробного ужаса.

Несмотря на рост и телосложение, он чем-то похож на мультяшного ангелочка – из тех, что обычно изображают на открытках. Пшеничные волосы. Молочно-голубые, чуть воспаленные глаза. Вера видит их с необыкновенной, невозможной ясностью, несмотря на расстояние метра в три. И вдруг он улыбается Вере – лучисто и простодушно. Почти как тогда.

5

Не погибший

Вера молча смотрит на него и чувствует, как первая жгучая капля задевает ее за висок. А следом вторая и третья с маху налепляются на плечо. Около сердца непрерывно ныряет что-то тяжелое и вместе с тем теплое, душистое.

Значит, он правда выжил. Он выжил, шумно всплескивается в голове у Веры. Он просто уезжал и теперь вернулся. Все это время он был в Манаусе. Или где-то недалеко оттуда. Где-то рядом с мутной голодной рекой. Он был там на самом деле, а не только во сне.

Вера не в силах пошевелиться: теплый ныряющий ужас как будто полностью ее парализовал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.